

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово .....	7
<i>Клинг О.А.</i> Русское литературоведение XX века как социокультурное явление.....	8
<i>Хализев В.Е.</i> Г.Н. Пospelов в пору борьбы с «буржуазным либерализмом» и «космополитизмом» А.Н. Веселовского (1947–1949).....	21
<i>Осовский О.Е.</i> «Наблюдение за наблюдающим»: биография литературоведа как объект научного исследования (случай М.М. Бахтина) .....	31
<i>Михайлова М.В.</i> Как начиналось марксистское литературоведение? (Венок на могилу Е.А. Соловьева-Андреевича).....	37
<i>Тюпа В.И.</i> Анализ художественного текста в отечественном литературоведении XX века.....	50
<i>Орлова Е.И.</i> Б.М. Эйхенбаум как литературный критик (три заметки к теме) .....	57
<i>Тахо-Годи Е.А.</i> Три письма Л.П. Семёнова к М.О. Гершензону (материалы к биографии ученого).....	67
* * *	
<i>Чернец Л.В.</i> Рамочный текст литературного произведения (к 80-летию публикации «Поэтики заглавий» С.Д. Кржижановского) .....	74
<i>Ходанен Л.А.</i> Методологические проблемы истории русской литературы в научном наследии Фохта .....	81

<i>Ермошин Ф.А.</i>	К. Чуковский как литературовед: Наука? Критика? Автобиография? .....	89
<i>Варакина Е.Р.</i>	Теоретико-литературная основа трудов М.М. Дунаева по истории русской литературы.....	97
<i>Бурнашева Н.И.</i>	Л.Д. Громова-Опульская — толстовед-текстолог и главный редактор академического издания полного собрания сочинений Л.Н. Толстого .....	102
<i>Моисеева В.Г.</i>	Трилогия А.В. Белинкова.....	109
<i>Шевчук Ю.В.</i>	Эстетические категории и литературное произведение: возможные пути анализа (по работам уфимского литературоведа Р.Г. Назирова).....	116
<i>Руднева Е.Г.</i>	Литературная критика И.А. Ильина в свете его эстетики .....	125
<i>Домашенко А.В.</i>	Литература, поэзия, бытие: вариация на тему И.Ф. Анненского .....	136
<i>Яковлев М.В.</i>	Андрей Белый как теоретик неоапокалипсиса .....	145
* * *		
<i>Курилов В.В.</i>	Основные историографические категории русского литературоведения XX века .....	152
<i>Третьяков В.А.</i>	Проблема критики и/как литературы в отечественном литературоведении .....	157
<i>Трахтенберг Л.А.</i>	К истории изучения русской смеховой литературы.....	163
<i>Кобленкова Д.В.</i>	Отечественная скандинавистика второй половины XX века: идеологические и литературоведческие приоритеты.....	172
<i>Московская Д.С.</i>	Локально-исторический метод Н.П. Анциферова.....	179

<i>Ельницкая Л.М.</i>	
О методе мифореставрации художественного текста (на материале произведений Ф.М. Достоевского).....	186
<i>Полтавец Е.Ю.</i>	
Система терминов в методе мифореставрации.....	192
* * *	
<i>Эсалнек А.Я.</i>	
Полифункциональность диалогизма в науке о литературе .....	197
<i>Шутая Н.К.</i>	
Художественное время и пространство в современном литературоведении: состояние исследований .....	202
<i>Перова Е.Ю.</i>	
Элементы религиозного мировосприятия в концепции художественного времени (на материале отечественного литературоведения XX века) .....	208
<i>Жданова А.В.</i>	
«Гротескный стиль», «игровой стиль», «нетрадиционный нарратив»: к истории термина .....	214
<i>Исаев С.Г.</i>	
Понятие выразительности в теоретических исканиях начала XX столетия: мистическая и позитивистская проекции.....	223
<i>Лоскутникова М.Б.</i>	
Ю.Н. Тынянов в работе над проблемами художественного целого: поиски героя и вопросы стиля.....	232
<i>Плешкова О.И.</i>	
Теория литературной эволюции, историческая проза Ю.Н. Тынянова и современные жанры исторического повествования.....	241
<i>Зейферт Е.И.</i>	
Графический облик жанра отрывка: развитие гипотезы Ю.Н. Тынянова .....	248
<i>Осьмухина О.Ю.</i>	
Проблема авторской маски в рецепции современного отечественного литературоведения .....	257
<i>Владимирова Н.Г.</i>	
Автор как проблема английской художественной прозы в контексте ее восприятия отечественным литературоведением.....	265

<i>Лебедев С.Ю.</i>	Развитие концепции целостного анализа художественного произведения в русском литературоведении Беларуси .....	273
<i>Богданова О.А.</i>	«Братья Карамазовы» в Германии: В.Л. Комарович и З. Фрейд о последнем романе Ф.М. Достоевского .....	281
<i>Щедрина Н.М.</i>	Литературоведение и критика второй половины XX века о творчестве А. Солженицына .....	288
<i>Рягузова Л.Н.</i>	«Культурный синтез» Средневековья в художественном сознании XX века (в творческой интерпретации П.М. Бицилли).....	296
<i>Осовский О.О.</i>	Советская метапроза 1920-х — начала 1930-х годов в оценках авторов «Современных записок» (А.Л. Бем, П.М. Бицилли, Ф.А. Степун и др.) .....	304

## Приложение

<i>Холиков А.А.</i>	Теоретические принципы разработки словаря русских литературоведов XX века .....	310
---------------------	---	-----

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Предлагаемый читателям сборник подготовлен кафедрой теории литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по материалам Международной научной конференции «Русское литературоведение XX века: имена, школы, концепции», целями которой стали осмысление и систематизация наследия русской науки о литературе ушедшего столетия.

В публикуемых статьях обсуждаются вопросы, связанные с историей русского литературоведения XX в.; особое внимание уделяется своеобразию отечественного литературоведения, его месту в мировой науке о литературе. Ученые обращаются не только к академическим школам и их признанным лидерам, но и к *внеакадемическим* концепциям, а также — к несправедливо забытым исследователям.

Сборник состоит из четырех разделов. К первому — составители отнесли статьи докладчиков, которые выступили на пленарном заседании и наметили векторы дальнейших дискуссий. Авторы второго раздела сосредоточились вокруг конкретных имен. Саморефлексии литературоведения, а также научным методам и направлениям посвящен третий раздел сборника. В последнем — собраны тексты по более частным вопросам теории литературы.

К сожалению, настоящее издание не смогло включить все доклады состоявшейся конференции. Кроме того, в нем не представлены материалы круглого стола, посвященного обсуждению проекта словаря «Русские литературоведы XX века»<sup>1</sup>, подготовка которого ведется на базе кафедры теории литературы. Чтобы немного восполнить этот пробел, в приложении приводится установочная статья из уже ставшего библиографической редкостью проспекта будущего издания.

Публикуемые материалы служат наглядным подтверждением того, что филологический факультет, следуя лучшим традициям Московского университета, объединил литературоведов страны в большой научной работе.

Редколлегия надеется, что сборник вызовет интерес у академического сообщества, преподавателей, аспирантов, студентов и всех тех, кто занимается историей науки и теорией литературы.

---

<sup>1</sup> Русские литературоведы XX века: Проспект словаря / Клинг О.А., Холиков А.А. М., 2010. См. также: Холиков А. На пути к словарю // Знамя. 2011. № 4.

О.А. Клинг

## РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ XX ВЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ<sup>1</sup>

Подводя итоги русского литературоведения XX в., невольно задаешься вопросом: «Что же это было?» Начнем с того, верна ли дефиниция «*русское*» по отношению к отечественному литературоведению XX в.? При таком определении утрачивается многое, в том числе национальное многообразие той науки о слове, которая почти 70 лет называлась *советской*. Но и это определение — *советское* — не только не универсально, но для осмысления недавнего прошлого не совсем исторично. Все-таки в слове «советское» явно ощутима негативная оценка. Называем же мы теперь литературу советской эпохи чаще всего «русской».

Не подходит к изучаемому нами литературоведению как социокультурному явлению, казалось бы, более универсальное определение *отечественное*. Как быть тогда с литературоведческим наследием русского зарубежья, литературоведением бывших республик, а ныне независимых государств, образовавшихся на территории ушедшего в прошлое СССР? Мы же не можем вычеркнуть из истории литературоведения тех, кто уже после своего ухода из жизни остался вне нового геополитического пространства.

Получается, что все же в качестве рабочего наиболее корректно пользоваться понятием *русское* литературоведение. Таким оно было к тому же в начале и на излете XX в. Эти зигзаги истории предопределили тот факт, что русское литературоведение XX в. на протяжении семи десятилетий было напрямую связано с социумом. Потому оно не только культурное, но и социокультурное явление. И в эпоху дооктябрьскую, и в эпоху послеперестроечную наше литературоведение не существовало и не существует вне социума. Речь может идти лишь о разной степени включенности науки о слове в общественную жизнь. Если говорить о нашем времени, то сам факт, что литературоведение как наука стало в отличие от советской эпохи чем-то маргинальным, субкультурным, это тоже проявление его связи с социумом.

Но вернемся к зигзагам истории, которые предопределили особенности и место литературоведческой мысли в России XX в. Эпоха, которая теперь называется Серебряным веком, осознавала в те годы себя по-иному. Можно говорить об оппозиции «кризис культуры»/«культурный Ренессанс», «русское Возрождение начала XX в.». Академически бесстрастного решения этого вопроса еще нет, оно скорее на подходе. И тем не менее во время величайшего

---

<sup>1</sup> Материал подготовлен при поддержке РГНФ в рамках проекта № 110400015а.

кризиса в русской и мировой истории Н. Бердяев в публичной лекции, прочитанной 1 ноября 1917 г., так и названной «Кризис искусства», писал: «...то, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах». И далее: «Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы... Никогда еще так остро не стояла проблема отношения искусства и жизни, творчества и бытия, никогда еще не было такой жажды перейти от творчества произведений искусства к творчеству самой жизни, новой жизни... В современном искусстве можно открыть стремления синтетические и стремления аналитические, направленные в стороны противоположные. И стремления к синтезу искусств, к слиянию их в единую мистерию, и противоположные стремления к аналитическому расчленению внутри каждого искусства одинаково колеблют границы искусства, одинаково обозначают глубочайший кризис искусства».

Важно замечание Н. Бердяева: «Символисты были провозвестниками этих синтетических стремлений»<sup>2</sup>. Н. Бердяев в первую очередь имеет в виду французов, но для него важно и то обстоятельство, что именно русские «теурги» дали толчок для понимания символизма как миропонимания, как способа пересоздания жизни. Однако русские символисты создали не только образцы синтетического искусства, но и *синтетического* литературоведения. Именно символисты вывели русское академическое литературоведение из кризиса, тупика. Особенно ярко это проявилось под пером А. Белого — литературоведа и критика, в первую очередь в книге «Символизм» (1910), которая, по признанию Б.М. Эйхенбаума, была настольной у будущих формалистов. В статье «Теория “формального метода”» (1926) Б.М. Эйхенбаум писал: «Мы вступили в борьбу с символистами, чтобы вырвать из их рук поэтику и, освободив ее от связи с их субъективными эстетическими и философскими теориями, вернуть ее на путь научного исследования фактов. Воспитанные на их работах, мы с тем большей ясностью видели их ошибки»<sup>3</sup>.

Так, уже к 1917 г. (первый выпуск «Поэтики» появился годом ранее) обозначился отход от *синтетического литературоведения символистов* и мозаичная картина из разных школ, концепций в литературоведении. 1917 год стал катализатором этих процессов.

Русская формальная школа — одна из вершин теоретической мысли XX века — была решительно устремлена к обновлению. Не случайно после Октябрьской революции произошло сближение формалистов с ЛЕФом. Формальная школа стала своего рода частью левовской стратегии в искусстве. И это укладывается в программу футуристов. Но в то же время формалисты другой частью своей эстетической программы были развернуты в сторону сохранения культурной традиции. Не случайно и сами представители формальной школы называли себя *морфологической школой*, дабы избежать негативной коннотации (особенно в послереволюционное время) слова «формализм». Нечто сходное на более раннем

---

<sup>2</sup> Бердяев Н.А. Кризис искусства // О русских классиках. М., 1993. С. 29–294.

<sup>3</sup> Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987. С. 378–379.

историческом отрезке (1914 г.) было с московскими кубофутуристами: это критика с легкой руки В.Я. Брюсова назвала «гилейцев» на европейский лад футуристами, а они искали что-то другое («будетляне» и т. д.).

В самом же футуризме, как и в формальной школе, далеко не все было нацелено на *разрыв* с традицией. Кубофутуристы и формалисты во многом способствовали сохранению культурной памяти. Это ярко проявилось во взаимоотношениях формалистов и русских символистов. В работе «Теория «формального метода» Б.М. Эйхенбаум, с одной стороны, воздаёт должное «журнальной» науке» символистов (Андрей Белый, В. Брюсов, Вяч. Иванов и др.). Особо подчеркивалось значение книги Белого «Символизм» (1910). С другой стороны, как писал Эйхенбаум, «встреча двух поколений» (проще: *шибка*, столкновение) — символистов и постсимволистов не только в искусстве, но и в науке — «определилась не по линии академической науки, а по линии этой журнальной науки — по линии теории символистов и методов импрессионистической критики»<sup>4</sup>. С дистанции времени Эйхенбаум так передает притяжение/отталкивание теорий символистов и формалистов. Выше приводилось суждение по этому поводу Б. Эйхенбаума о «борьбе с символистами», «их ошибках»<sup>5</sup>.

В статье-манифесте «Теория “формального метода”» Б.М. Эйхенбаум напрямую употребляет расхожее после Октября 1917 г. (особенно в рапповских кругах) словосочетание «революционный пафос». Этот радикализм по отношению к теориям символистов опирался на «восстание футуристов (Хлебников, Крученых, Маяковский) против поэтической системы символизма»<sup>6</sup>.

Русские символисты создали в начале XX в. *синтетическое литературоведение*. Они первые поставили в центр вопрос о форме, стиле, языке, поэтических приемах, особенностях стиха, другими словами, вопросы поэтики. Не случайно В.М. Жирмунский в статье 1919 г. «Задачи поэтики» подчеркивал роль «журнального литературоведения» Брюсова, Вяч. Иванова, Белого. И в то же время в своих литературоведческих «штудиях» русские символисты не забывали о *философии слова*, т. е. содержании. Первой своей интенцией (проблема формы) русские символисты породили в науке формалистов, второй (семантика текста) — целое направление в русском литературоведении — философское (от П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета, А.Ф. Лосева, до М.М. Бахтина). Однако нельзя сводить представление о морфологической школе только к форме. К примеру, Ю.Н. Тынянов в статье «Промежуток» (1924) и других работах предстал как филолог, напрямую вступающий в диалог с синтетическим литературоведением символистов. С годами русские формалисты все чаще и чаще возвращались к диалогу с наследием символизма в области науки о слове, стихе.

Особняком стоит тема «М. Бахтин и синтетическое литературоведение русских символистов». В чем-то поздний Бахтин на новом витке эстетической мысли возвращался, но по-другому, к синтетизму теоретических выкладок символистов. Взять хотя бы переключку его идеи о полифоническом романе Достоевского с концепцией Вяч. Иванова о романе-трагедии. И таких примеров много.

<sup>4</sup> Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 378–379.

<sup>5</sup> Там же. С. 379.

<sup>6</sup> Там же.



Но и сами поздние символисты не боялись *ученичества* не только у поэтов-футуристов (М.Л. Гаспаров), но и у теоретиков формализма. Это В. Брюсов, в определенной степени Вяч. Иванов, но особо явственно Андрей Белый (книга «Мастерство Гоголя»). Здесь много неожиданных разворотов, которые требуют особого изучения. Они высветят теорию литературу XX в. как сложное, с тайными тропами и скрытыми переходами уникальное по своей сути и форме явление.

Было бы ошибочно полагать, что становление в России литературоведения как науки — это сплошной эволюционный рост от одной литературоведческой школы к другой (к примеру, биографической или мифологической через культурно-историческую А.Н. Пыпина в духе И. Тэна к сравнительно-исторической или психологической). В суждениях Пушкина о себе и литературе в свернутом виде (Пушкин краток и емок не только в своей художественной прозе, но и критике) — программа, своеобразный код будущего в развитии литературы и литературоведения не только для XIX, XX, но и последующих веков. В кризисные эпохи этот код не читаем, он как бы стирается.

Так было в XX в. В плане истории и тесно связанной с ней литературы (а также литературоведения) XX в. на значительных своих временных отрезках был «железный», «век-волкодав» (О. Мандельштам). В период, который условно можно назвать советской эпохой, написаны горы сегодня забытых литературоведческих работ. У литературоведения в принципе, увы, короткий век: оно умирает быстрее даже самой «плохой» литературы. Остается только вершинное (самый яркий пример из XX в. — М.М. Бахтин). Факты из истории литературы переписываются на свой манер и в приспособлении для своих целей учеными следующих поколений, а идеи, если они актуальны, живут в свободном движении — без авторства, время от времени обретая временный «ярлык» с именем того или иного литературоведа. Официальное же советское литературоведение опочило раньше своей физической смерти — раз и навсегда. С той самой силой, с какой оно подавляло существовавшие в самые темные десятилетия и пробивавшиеся как трава через асфальт (выражение Г.А. Белой) яркие творения неангажированных ученых (уже назывались имена М.М. Бахтина, Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотмана, этот ряд можно продолжить), время вытеснило из научного бытия скукожившееся до почти незримой малости «наследие» официозного литературоведения. Сегодня к нему обращаются лишь при изучении творчества советских писателей, к примеру В.С. Гроссмана, в оценке прижизненной критики.

Но не следует сводить представление о «советском» литературоведении только к одному ее пласту — официозному. О том же В.С. Гроссмане замечательно писал в 1970 г. А.Г. Бочаров. Советское литературоведение — это многоуровневое, сложное явление, с разными этажами, переходами, порой самыми неожиданными. Особое место в филологии занимали «старшие» — В.М. Жирмунский, Б.М. Эйхенбаум и др. Рядом — Г.А. Гуковский, Д.Е. Максимов, хотя и забытые, но активно работающие в провинции М.М. Бахтин, Б.О. Корман, Я.О. Зунделович, многие др. Наконец, в 1960-е гг. в науку приходят люди, которые вскоре обрели мировую известность: Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров. Нельзя не сказать о поколении ярких молодых ученых (начало их деятельности — еще «советские» 1970–1980-е гг.), рано ушедших из жизни (А.Б. Есин,

А.М. Песков, М.И. Шапир). Так что совершенно неправомерно, говоря о советском периоде литературоведения, всех мазать одной краской. Высказывались же суждения (на мой взгляд, не совсем правомерные), что А.Д. Синявский в своих подцензурных статьях вполне укладывался в парадигму советского литературоведения. Допустимо предположить, что в работах М.Б. Храпченко, Я.Е. Эльсберга и А.И. Метченко можно что-то ценное найти и сегодня. Правда, при обсуждении данного доклада в дни работы конференции «Русское литературоведение XX века» один из крупнейших ученых нашего времени Ю.В. Манн категорически не согласился с этим моим положением. И точка зрения Ю.В. Манна симптоматична.

Как это ни парадоксально, но в советскую эпоху нередко литературоведение и критика были интереснее самой литературы. Литературоведческие работы читались как бестселлеры: яркий пример — книга А.В. Белинкова «Юрий Тынянов» или «Поэтика византийской литературы» С.С. Аверинцева, работы Ю.М. Лотмана и Ученые записки Тартуского университета. Советское литературоведение — далеко не все, а в лучших своих проявлениях — было формой бытования инакомыслия. В подтексте статей о литературе вдумчивый читатель находил разговор о наболевших проблемах современности. Так, вступительная статья М.Л. Гаспарова к «Скорбным элегиям» Овидия Назона в серии «Литературные памятники» (М., 1978) на фоне реалий правления Л.И. Брежнева заставляла сопоставлять Рим эпохи упадка и Москву эпохи застоя. Научный комментарий, к примеру, к томам «Литературного наследия», набранный мелким шрифтом, нередко тоже давал тот глоток свободы, которого все так ждали.

Особый статус был у жанра рецензии. То ли из-за своей периферийности (литературные генералы писали статьи), то ли по недосмотру цензуры и либеральности редакторов в них «разрешалось» чуточку больше. Журналы эпохи застоя, в том числе «Вопросы литературы», читались с конца — с раздела рецензий. Важно осознать все многообразие науки о слове в советскую эпоху, хочется повторить, не сводимую к официозу.

Это видно на судьбе отдельных ученых, когда на первый план выдвигается индивидуальное. Наиболее ярко, но не так, как, например, в случае с диссидентским литературоведением (это особая и чрезвычайно важная тема, которая еще ждет своего исследователя), а по-иному, это проявилось в трудах Г.А. Белой — одного из крупнейших ученых второй половины XX в. Ее путь особый: сотрудник, пусть долгое время скромный по должности, ведущего научного центра советского времени — ИМЛИ АН СССР — и в то же время исключительная личность, противостоящая официозу и своему времени.

Это ярко проявилось в первой книге Г.А. Белой — «Закономерности стилового развития советской прозы двадцатых годов». У этой книги удивительная судьба: еще до выхода из печати в 1977 г. она стала хорошо известной в стенах факультета журналистики МГУ. В 1975 г. Г.А. Белая пришла читать лекции по курсу «История советской литературы» на четвертый курс факультета журналистики МГУ. Хотя Г.А. Белая до этого преподавала, чтение полного курса лекций, да еще по устоявшейся программе, было для нее делом новым. Правда, на факультете журналистики никто особо не требовал от преподавателей не только строго

следовать утвержденной программе, но и писать ее. Каждый, кому приходилось в свое время впервые читать незнакомый курс лекций, знает, как это непросто. Конечно, у Г.А. Белой в отличие от многих других начинающих преподавательскую деятельность был огромный «задел». Это (согласно библиографическому указателю) 59 статей, опубликованных в трудах ИМЛИ — тогда АН СССР, на страницах ведущих научных («Вопросы литературы») и «толстых» журналов («Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», воронежский «Подъем»), других периодических изданий («Литературное обозрение», «Литература в школе»).

А самое главное, была весьма объемистая машинописная рукопись докторской диссертации Г.А. Белой «Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов». Из-за того что Г.А. Белая не подписала подготовленное в отделе советской литературы ИМЛИ РАН СССР (там она тогда служила) письмо с осуждением А.Д. Синявского и Ю. Даниэля, докторскую, что было традицией этого академического заведения, «не пускали». А на журфаке искали филолога, который смог бы вместо заболевшего профессора А.Г. Бочарова читать лекции по советской литературе 1920-х гг. Выбор пал на Г.А. Белую, которую другой профессор литературы с факультета журналистики МГУ — В.А. Ковалев — хорошо знал по научным трудам и ИМЛИ. Именно он в свое время посоветовал Г.А. Белой собрать свои статьи в докторскую диссертацию. Он же предложил выйти из трудного положения с ней — защититься в МГУ<sup>7</sup>.

Так будущая книга, существовавшая тогда еще в виде рукописи докторского исследования, сыграла свою роль в судьбе самой Г.А. Белой и студентов факультета журналистики. Кто слышал лекции Г.А. Белой, знает: она всегда импровизировала. Читала «без бумажки». Тем не менее она не раз давала начинающим преподавателям бесценный совет: на всякий случай всегда иметь с собой «поплавок» — материал по теме лекции. Может пригодиться. Надо помнить, что в случае с Г.А. Белой речь шла не о лекторской шпаргалке, а о собственных научных трудах. Таким «поплавком» для нее была рукопись будущей книги.

Весной 1975 г. вышел автореферат докторской диссертации Г.А. Белой «Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов» с подзаголовком «По материалам литературы, критики и журналистики», а в 1977 г. (к чести ИМЛИ) вышла, не без трудностей (о них с юмором рассказывала Г.А. Белая), монография в издательстве «Наука». Г.А. Белая уже была доктором, профессором, а с этим в ИМЛИ считались. Книга была утверждена к печати ИМЛИ АН СССР. Сдана в набор 6 декабря 1976 г., подписана к печати 22 апреля 1977 г. Среди людей новой эпохи мало кто уже помнит, что это день рождения В.И. Ленина. Тогда в официальной пропаганде принято было говорить о «подарках» к этой дате — трудовых подвигах. В данном случае подарок был еще тот. Книга «Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов» была первой, где советская литература 1920-х гг. исследовалась, а не пропагандировалась, причем исследовалась на высочайшем академическом уровне, без оглядок на устоявшиеся авторитеты как в самой литературе, так и в науке о ней,

---

<sup>7</sup> В монографии Г.А. Белой на с. 8 есть сноска на книгу В.А. Ковалева «О стиле художественной прозы Л.Н. Толстого» (М., 1960). Она по теме исследования, и в то же время это знак признательности одного ученого другому.

без оглядки на то, о чем можно писать и думать, а о чем нет. Г.А. Белая была человеком, который своей общественной деятельностью (а это лекции, статьи, выступления по радио или на телевидении, интервью, наконец, частные, «кухонные» беседы с огромным кругом людей) подготовил смену, слом эпох, изменил мир. Г.А. Белая — автор монографии «Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов» — изменила и науку о литературе XX в. После нее она стала другой. По крайней мере, в своем идеальном варианте.

Особенность монографии в соединении теории и истории. В ней не просто панорама, говоря языком Г.А. Белой, срез литературы, а целый ряд теоретических проблем, в первую очередь касающихся стиля. В начале — середине 1970-х гг. это была одна из самых востребованных категорий в науке о слове, которая требовала, однако, принципиально нового осмысления. Эта попытка была предпринята в серии коллективных трудов ИМЛИ «Теория литературных стилей» (М., 1976–1982), среди авторов которой была и Г.А. Белая. Позже — в работах В.В. Эйдиновой, которую можно назвать не только другом, но и последователем Г.А. Белой.

Г.А. Белая (среди прочего другого) была прекрасным фактографом. Обладая феноменальной памятью, она владела, причем, что называется, из первых рук, широчайшим кругом знаний, и не только в области литературы. Напомню, что первой научной работой, опубликованной ею в трудах ИМЛИ, была «Хроника литературной жизни (1948–1950)» в «Истории русской советской литературы» (Т. 3. М., 1961). Именно она впервые научно описала в целом ряде статей в «Очерках истории русской советской журналистики» (М., 1966) самые яркие журналы послереволюционной эпохи: «Красная нива», «Прожектор», «Огонек» (в соавторстве с Г.А. Скороходовой), «РАПП», «Литература и искусство», «Литература и марксизм», «Печать и революция». Работала Г.А. Белая в архивах, хотя и не стремилась к сугубо «архивным», описательным работам, на которые как раз в 1970-е гг. был большой спрос — в отечественном литературоведении начинался расцвет «поэтики комментариев», набранных мелким шрифтом. Г.А. Белая блестяще делала и это. Но от себя и от других она требовала глубинного осмысления явлений искусства, концепции. В названии кандидатской диссертации Г.А. Белой «Романы И. Эренбурга “Падение Парижа” и “Буря”» не случайно был подзаголовок, обозначивший вкус автора к теории: «К вопросу о формах современного романа» (М., 1962). Не случайно и то, что научным руководителем Г.А. Белой был один из ведущих теоретиков XX в. Л.И. Тимофеев.

Филологические работы без мысли, без концепции Г.А. Белая называла «дамским вязанием», «рукоделием». Ей было тесно (по разным причинам) в отделе советской литературы ИМЛИ, и она после защиты докторской, продолжая числиться по штатному расписанию в советском секторе, перешла в отдел теории, который в те годы возглавлял Н.К. Гей. Он, кстати, ответственный редактор книги «Закономерности стилевого развития советской прозы двадцатых годов».

Во вступлении к книге Г.А. Белая писала о «теоретической ценности», которую «приобретает исследование художественных и эстетических поисков литературы 20-х годов, ибо в ней отчетливо выражены не только напряженное взаимодействие мысли “живописующей” и мысли “истолковывающей”, но и при-

чины, обострившие их борьбу»<sup>8</sup> (с. 3). Далее Г.А. Белая еще раз подчеркивает «теоретическую весомость» (с. 9) художественного опыта 1920-х гг.

Другая черта научного метода Г.А. Белой — диалог с эстетической мыслью 1920-х гг. Сегодня это кажется общим местом, но русское литературоведение этого периода до сих пор остается одним из самых востребованных в мире. Именно в 1960-е гг. началось осмысление отечественным литературоведением идей 1920-х гг. Г.А. Белая была одной из первых на этом пути, при этом ее собственный диалог с эстетикой 1920-х гг. шел напрямую, без посредников. Выше уже назывались статьи Г.А. Белой о литературной журналистике. К тому времени, когда книга «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» была сдана в набор (6 декабря 1976 г.), еще не вышло в свет переиздание трудов Ю.Н. Тынянова под названием «Поэтика. История литературы. Кино». Эта книга подписана к печати 31 декабря 1976 г., вышла в 1977 г. — в том же издательстве «Наука» и почти в то же время, что и монография Г.А. Белой. Тынянов цитируется в «Закономерностях стиливого развития советской прозы двадцатых годов» по периодике — журналу «Русский вестник» (1924. № 1). В 1977 г., правда, к концу его, в ленинградском отделении «Науки» вышло переиздание трудов В.М. Жирмунского «Теория литературы. Поэтика. Стилистика» (подписано к печати 2 декабря 1977 г.). Всего лишь годом ранее, в 1976 г., в московской «Науке» вышла подготовленная А.П. Чудаковым книга В.В. Виноградова «Поэтика русской литературы». Книга подписана к печати 12 августа 1976 г., когда труд Г.А. Белой «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» был в 1975 г. защищен в виде докторской. Правда, еще в 1969 г. вышли «О поэзии» и «О прозе» Б.М. Эйхенбаума. Но в целом 1977 г. в судьбе отечественного литературоведения был похож, если прибегнуть к словам В.Я. Брюсова в письме к Андрею Белому, на роль 1903 г. в судьбе русского символизма — Аустерлиц или Ватерлоо. Сегодня мы понимаем, что 1977 г. для отечественной филологии был переломным, с далеко идущими благотворными последствиями для всей нашей науки. В данной статье названы не все вышедшие в тот год примечательные труды, но книга Г.А. Белой «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» бесспорно стала явлением.

Особо следует сказать о М.М. Бахтине. Во всех последующих трудах Г.А. Белой одной из самых цитируемых книг были «Вопросы литературы и эстетики» (М., 1975) Бахтина. В «Закономерностях...» ее нет. Хотя книга М. Бахтина и появилась в свет в 1975 г., но, подписанная к печати 15 июля (день смерти А.П. Чехова по новому стилю), она не могла войти в диссертацию Г.А. Белой и в сделанную на ее основе монографию, которой предстоял долгий путь утверждения в ИМЛИ. Но, несмотря на это, монография «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» была одним из первых трудов, во многом построенном на бахтинской методологии. Г.А. Белая цитирует «Проблемы творчества Достоевского» Бахтина (Л., 1929), его статьи «Эпос и роман» (Вопросы литературы. 1970. № 1), «К эстетике слова» («Контекст — 1973». М., 1974), дает

---

<sup>8</sup> *Белая Г.А.* Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов. М., 1977. Здесь и далее указания на из этого издания даются в скобках тексте статьи.

ссылку на статью Бахтина «Слово в поэзии и в прозе» (Вопросы литературы. 1972. № 6), на работы, опубликованные под фамилиями В. Волошинова, П.М. Медведева. В сноске на с. 191 Г.А. Белая пишет: «По утверждению Вяч. Иванова, работы, подписанные фамилиями “В.Волошинов”, “П. Медведев”, в основном принадлежат М.М. Бахтину». Дается отсылка к «Трудам по знаковым системам» (Тарту, 1973). С тех пор много споров было на эту тему, но сказанное Г.А. Белой не отменить.

Сегодня бахтинская идея «диалога» общедоступна и, используя один из любимых стиливых приемов Г.А. Белой, *казалось бы*, ошеломляюще проста. Но тогда, в 1970-е гг., правда, вслед за учениками Бахтина, которые вернули его имя в науку, Г.А. Белая была одной из первых, кто привнес в понимание еще не существовавшего в те годы бахтинизма не только философское, но и общественное звучание.

Тоталитарная эпоха брежневской поры на своем излете осознавалась отжившей именно в свете бахтинских идей о необходимости диалога. На протяжении многих лет Г.А. Белая, читая лекции на факультете журналистики МГУ, внедрила идеи Бахтина в сознании будущих идеологов перестройки — назову для примера создателя «Независимой газеты» В. Третьякова. Так идеи одного ученого (Г.А. Белой), вступившие в диалог с идеями другого ученого (М.М. Бахтина), изменили общественный быт современной России. Но вернемся к книге.

В первой ее главе Г.А. Белая пишет, включая в собственные суждения идеи Бахтина: «Опора на “социально чужую манеру видеть и передавать виденное” (это из книги «Проблемы творчества Достоевского». — О.К.), казалось, стала к середине 20-х годов достаточно результативным способом воспроизведения мира — она давала возможность создания самостоятельного и саморазвивающегося характера, мышления героя, не совпадающего с авторским складом ума, непосредственной эмоциональной реакции и целостного мировосприятия человека из народа» (с. 73).

В семантически насыщенной, напряженной по ритму фрагменте не случайно появилось как предвестие будущего драматизма слово «*казалось*». У Г.А. Белой каждое слово на своем месте. Этот назревающий стиливой драматизм обнаруживается в следующем абзаце:

«Однако пореволюционная действительность... как новый организм... нуждалась и в самопознании и в самоутверждении. И поэтому критика торопила художников и нетерпеливо требовала обобщения. В середине 20-х годов она настойчиво заговорила об исчерпанности старых (сказовых) способов освоения жизни» (с. 73).

Итак, дана пружина. Она сугубо литературная, решается на уровне стиля, но корреспондирует с явлениями не только литературного, но и политического быта. Драматизм стиливого слома развернут на примере М. Зощенко. В финале раздела о Зощенко Г.А. Белая пишет: «Недооценивая возможности сатирического сказа, коренившиеся прежде всего в живучести его объективных предпосылок, игнорируя природу собственного художественного видения, писатель в 30-е годы выходит к открытому “учительству”, морализаторству и резонерству» (с. 82).

Так на десяти страницах текста дан рисунок стиливого развития эпохи, судьба писателя, наконец, изменение ментальности носителей как художественной языка, так и речи.



И еще: Г.А. Белая, оставаясь в границах своего авторского стиля, интонации, ритма, не подчиняясь, как это иногда бывает, языку исследуемого писателя, органично, тонко воссоздает его внутренний мир. И не только в случае с одним из любимых ею М. Зощенко, но и с другими, менее близкими.

Новым в книге Г.А. Белой-литературоведа было обращение к диалогу с лингвистикой. Это не только В.В. Виноградов, но и работы Н.А. Кожевниковой — она один самых цитируемых авторов.

И здесь уместно остановиться на языке самой Г.А. Белой. Во-первых, он отражает невероятно мощный интеллект, который редко встретишь. Эта энергия вбирает в себя и изучаемое явление, и все происходящее вокруг предмета исследования. Но при этом в каждом слове Г.А. Белой слышится человеческое. Отсюда, при всей высокой литературности и академичности стиля, разговорная интонация, ритмика. Это своеобразная ритмическая организованность. Может быть, это субъективное ощущение. Как уже отмечалось выше, студенты факультета журналистики 1975 г., сначала слышали книгу «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов». Но это ощущение звучащего слова есть и во всех других работах Г.А. Белой.

От одного зарубежного исследователя, увлеченного структуралистскими штудиями тех лет, мне приходилось услышать упрек в адрес ученого: «Г.А. Белая пишет слишком красиво. Это мешает». На мой взгляд, это скорее достоинство, а не недостаток. «Красота» стиля здесь не самоцель, а глубинная форма истины и гармонии. В действительности научный язык Г.А. Белой чрезвычайно богат: это и сугубо литературоведческий метаязык, и органично включенный в научный стиль язык эпохи в виде критических статей, отрывков из прозы, писем, и метафорический, образный язык.

«Попытка бешеным ритмом догнать ускользающую жизнь оставила еще один заметный и поучительный след в истории борьбы революционной литературы за активность художественного слова» (с. 118). В этом отрывке можно найти все отмеченное выше и многое другое. Такую мощную фразу на одном дыхании могла произнести только Г.А. Белая. Она достойна филолога, но она достойна и мастера слова.

Книга Г.А. Белой «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» привнесла в литературоведение вкус к философии жизни и философии искусства. Встретив в статье о себе (написанной автором данной работы совместно с Е.И. Орловой) слово «мыслитель», Г.А. Белая усмехнулась: «Тоже мне, мыслитель». Самоирония у нее была невероятная. Но это было так. Она создала на нашей почве «онтологическое литературоведение», которое вбирало в себя не только эстетическую, но и этическую сферу бытия. Искусство и жизнь, литература и человек — эти понятия для автора книги «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов» неразрывны.

Ближе к концу своей первой книги Г.А. Белая писала:

«Связи», «взаимодействия» — все это является не только характеристикой структуры современной прозы в ее лучших образцах, но и ее оценкой, ибо говорить о стиливой системе можно только, имея перед собою полнозвучное,

целостное явление. Взаимодействие компонентов стиля может осуществляться только при наличии самих компонентов.

Аксиома эта имеет в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд: она означает преодоление “обособленности” в стиле, она свидетельствует о нормальном, живом, естественном его развитии, о многочисленных токах, пронизывающих стиль, идущих от автора, героя, читателя и в конечном счете “работающих” на основное — на создание посредством стиля сложного образа окружающей реальности» (с. 250).

Так в очередной раз Г.А. Белая сводит воедино литературу и жизнь, эстетику преобразования мира и реальность.

Рамки данной статьи не позволили обозначить другие важные темы. Назову одну из них: как соотносится научный метод Г.А. Белой с другими? Например, структурализмом. Это отчетливо проявилось в книге. Коротко можно сказать так: опираясь на все многообразие литературоведческих подходов, в первую очередь поэтику, вступая в диалог с ними, Г.А. Белая осталась ни кого не похожей, так как создала свою школу, свой метод. Этот метод и был мощно заявлен в первой книге Г.А. Белой «Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов».

Так талант, глубокий ум, внутренняя и внешняя свобода, выбор своих ступков, трудолюбие, многое другое позволили ученому, жившему в тоталитарную эпоху, остаться верным себе и своему предназначению. Путь Г.А. Белой-ученого и человека развеивает многие мифы о «железном» XX в.: предавали, лгали себе и другим, а главное — науке потому, что эпоха была такой.

Такой она была далеко не для всех! И научное наследие Г.А. Белой тому свидетельство.

Но, говоря о «железном» XX в., не стоит забывать о других его периодах — хотя бы Серебряном. Правда, возникает необходимость как-то назвать литературный период конца XX в. — начиная с эпохи горбачевской гласности, перестройки. Конечно, он был подготовлен хрущевской «оттепелью», брежневским «застоем», когда были ослаблены некоторые идеологические «гайки», но для литературы и тесно связанного с ней литературоведения это был чрезвычайно значимый период, который уж точно не повторится никогда. То был последний по времени взлет беспрецедентного интереса, не будет преувеличением сказать, народа к литературе и заодно к литературоведению. Не только художественные произведения, но и труды филологов были востребованы, издавались значительными тиражами. Вполне возможно, что с дистанции времени (не сейчас, а позже) конец XX — начало XXI в. в России назовут *платиновым*. В России не было за всю ее историю такой ситуации, когда литература и тесно связанное с ней литературоведение обрели после отмены цензуры свободу, были открыты идеологические шлюзы и мощно хлынули потоки задержанной, потаенной — ее еще называют «пропущенной» — литературы, там- и самиздата, наконец, новейшей литературы 1980–1990-х гг., еще не до конца оцененной по своей художественной значимости. И это касается опять же не только литературы, но и литературоведения. Начался диалог отечественного литературоведения с западным. Веха здесь — выход под редакцией Г.К. Косикова книги: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. Буквально за



несколько лет русское литературоведение ассимилировало понятийный аппарат постструктурализма и других новейших школ: «дискурс», «интертекст», «архетип», «актор» и другие термины обрели «русский» контекст. Не менее впечатляющие явления: стремительное возрождение отечественного неофрейдизма (правда, нашумевшая статья живущего ныне на Западе И.П. Смирнова «Кастрационный комплекс у Пушкина» появилась в зарубежном издании), взлет неомифологической школы во главе с Е.М. Мелетинским, становление и, казалось, победа, но мнимая в русской литературе и литературоведении постмодернизма.

«Вернулись» литературоведы и критики русского Серебряного века, ученые-филологи, репрессированные в сталинские годы, представители русского зарубежья. То была счастливая эпоха, во многом противоречивая (взять, к примеру, судьбы народов, их культур на постсоветском пространстве), но благодатная для словесности и науки о ней. Пишущий и читающий существовали почти в идиллической связке: публикация в журнале с миллионным тиражом — и наутро автор становится знаменитым. Идиллия, как правило, обречена на печальный исход, но это — конец литературоцентричности в России — произошло потом. Тогда же литература и литературоведение совершили невиданный доселе скачок в своем развитии.

По-иному бытовало литературоведение в конце XX — начале XXI в. Это время особое: литературоведческая мысль уже пережила существенное обновление, наступила пора спокойного ее течения. Мы на пороге нового статуса науки о слове (и самой литературы) в условиях, когда сосуществуют, и довольно мирно, самые разные школы. При этом у каждой из них свой круг авторов и свой круг читателей. Может быть, мы возвращаемся, но на новом витке, к синтетическому<sup>9</sup> литературоведению, когда в диалоге разных школ и направлений произойдет познание неисчерпаемой сущности текста.

Итак, то, что условно называется советское литературоведение, — это многоуровневая конструкция. Первый уровень и господствующий — официоз, то литературоведение, которое должно было проводить идеологические взгляды партии на культуру. Этот официоз занимал лидирующее положение в целом ряде структур — как академических, так и учебных. Следующий уровень — самовоспроизводящееся массовое советское литературоведение, которое тиражировало идеи социалистических псевдотитанов науки о слове. Еще один уровень — своего рода мансарда — состоит из ученых, которые, занимая скромные (а порой и высокие) должности в научных институтах, вузах, оставались верны кодексу научной этики. Другой уровень — ближе к пристройке к большому дому — литературоведы, существовавшие вне официальных структур. На жизнь зарабатывали внутренними рецензиями, редактурой, критикой и т. д., но именно они двигали науку вперед. Ближе к подвалу или в подвале — диссидентское литературоведение, печатавшееся в сам- и тамиздате. Но на каждом этаже сколько сломанных судеб! Сколько нереализованных идей!

---

<sup>9</sup> Выше отмечалось, что таковым по своей природе оно было у больших ученых XX в. Первая же попытка приближения к синтетическому литературоведению принадлежит русским символистам (В. Брюсов, Вяч. Иванов, особенно ярко это проявилось у Андрея Белого).

И вдруг после перестройки все перемешалось. Первый уровень и господствующий — официоз, то литературоведение, которое должно было проводить идеологические взгляды партии на культуру и которое занимало лидирующее положение, переместилось в подвал — почти небытия. А то, что было незаслуженно, но в силу обстоятельств маргинальным, стало первым уровнем. Так, по аналогии с поэзией можно говорить о литературоведении дворников и истопников (и это была осознанная жизненная позиция): один из ярких примеров — выпускник факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, соавтор известного теоретика литературы В.Е. Хализева В.Н. Шикин (1947–2000), закончивший свою короткую жизнь иеромонахом.

В литературоведении поменялось не только соотношение «метров» и «аутсайдеров», но и соотношение центра и так называемой периферии. На базе вузов тех провинциальных городов, куда были сосланы в советскую эпоху филологи (М.М. Бахтин, Б.О. Корман), выросли авторитетные научные центры.

М. Бахтин, казалось, навсегда забытый в советскую эпоху, скромно сидевший и в основном молчавший в свои редкие приезды на конференции в Москву, сегодня на таких литературоведческих небесах, откуда видно все.

Перефразируя известное выражение, можно сказать, что литературоведение в России всегда было чем-то большим, чем наука.

Другое дело: применимо ли это к настоящему и будущему? Время покажет.

*В.Е. Хализев*

## **Г.Н. ПОСПЕЛОВ В ПОРУ БОРЬБЫ С «БУРЖУАЗНЫМ ЛИБЕРАЛИЗМОМ» И «КОСМОПОЛИТИЗМОМ» А.Н. ВЕСЕЛОВСКОГО (1947–1949)**

Это было время, когда центральным объектом гонений, инициатором и организатором которых были партийно-государственные инстанции, стала наука. (Ранее, в 1946 г., появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором разоблачались литературные критики.) Удары были нанесены одновременно по биологии (кампания против «морганизма-менделизма» как лженауки, полярной и враждебной науке будто бы подлинной, мичуринской, способной преобразовать природу) и академическому литературоведению.

Главным предметом обличений был «избран» А.Н. Веселовский, который на протяжении 1947–1949 гг. (позже кампания эта как-то свелась на нет) рассматривался как «низкопоклонник перед Западом», предтеча «космополитизма» и антипод революционной демократии (Чернышевский, Добролюбов). Школа Веселовского, утверждал всесильный глава Союза советских писателей А.А. Фадеев на XI пленуме правления Союза (весна 1947 г.), является прародительницей низкопоклонства перед Западом известной части русского литературоведения в прошлом и настоящем (Литературная газета. 1947. 8 и 29 июня). За сим воследовал поток обличений великого ученого: «Александр Веселовский и его эпигоны» Л. Плоткина (Литературная газета. 1947. 20 сентября). В подобном же духе высказались В.Я. Кирпотин и Н.А. Глаголев (Октябрь. 1947. № 7 и 12).

«Антивеселовская кампания» продолжалась долго. И шла она по нарастающей, превращаясь в обвинительный акт всему академическому литературоведению. Так, в статье Фадеева «О литературной критике» (Литературная газета. 1949. 24 сентября) утверждалось, что разделение пишущих на критиков и ученых несостоятельно и даже опасно. «Как можно рассматривать прошлое литературы, — вопрошал генеральный секретарь правления Союза советских писателей, — не будучи активным участником создания литературы коммунизма?» В качестве одиозных ярлыков, клеймивших Веселовского и современное академическое литературоведение, фигурировали такие словосочетания и слова, как «чистая наука», «академизм», «“так называемое” литературоведение». И — звучали жесткие слова в адрес таких ученых, как Томашевский, Азадовский, Цейтлин. Делались упреки Бродскому, Благому, Гудзию за то, что они не пишут о советской литературе. Ученым (в их ряду назван и Бонди) вменялось в вину, что

Пушкин (будто бы!) представлен ими как поэт, выросший на почве не русской действительности, а французской поэзии.

Статьи Фадеева весьма четко обозначили направленность политики партии и государства по отношению к литературоведению, которая весьма решительно (чтобы не сказать сильнее) велась начиная с 1947 г. и достигла высшей точки в 1949 г. О том зловещем и страшном, что происходило в этом году на филологическом факультете Ленинградского университета, с безупречной полнотой, опираясь на архивные материалы, рассказали К.М. Азадовский и Б.Ф. Егоров (см.: Звезда. 1989. № 6 и Новое литературное обозрение. 1999. № 36).

Аналогичные события, имевшие место на филологическом факультете МГУ, предметом изучения, к сожалению, не стали и поныне. Имело место гонение и на фольклористику, здесь кампанию возглавлял С.И. Василенок, в ту пору заместитель декана. 15 ноября 1947 г. на страницах «Литературной газеты» он «прорабатывал» П.Г. Богатырева за включение в лекционный курс темы «Мифологическая школа в России». Проработчик сетовал, что в программе соответствующего курса нет раздела «Классики марксизма-ленинизма о народном творчестве». Василенок возмущался и тем, что фольклористы филологического факультета до сих пор не обсудили решений партии по идеологическим вопросам и доклада Жданова 1946 г. Тот же Василенок на страницах факультетской газеты «Комсомолия» грубо шельмовал Э.В. Померанцеву, замечательного фольклориста и вузовского педагога.

На рубеже 1940–1950-х гг. был подвергнут репрессиям (арест и ссылка) крупный ученый и замечательный лектор Л.Е. Пинский, работавший на кафедре зарубежной литературы, которую возглавлял Р.М. Самарин. В 1952 г. изгнали с факультета А.А. Белкина, в течение ряда лет успешно читавшего лекционный курс о русском XIX в. Эти (и другие, им подобные) мрачные события в жизни филологического факультета нуждаются в специальном рассмотрении. Я останюсь лишь на тех нехороших делах, которые творились на кафедре русской литературы в 1947–1949 гг. Здесь главным объектом «проработок» оказался Г.Н. Пospelов, которого сурово критиковали, можно сказать даже, обличали и за его концепцию романтизма, и за «неправильную» трактовку «Бесов» Достоевского, и (больше всего) за решительное признание научных заслуг Веселовского.

Обвинение Пospelова во всяческих крамолах началось с обсуждений проблем романтизма. После выступления А.А. Фадеева (рубеж 1946–1947 гг.) о неверных трактовках романтизма как единого целого, без учета полярности двух его ветвей («прогрессивный» и «реакционный») ученому предложили (от подобных поручений отказываться было нельзя) выступить на заседании кафедры с докладом о романтизме, который состоялся 28 марта 1947 г. и вызвал бурное, по преимуществу гневное обсуждение, продолженное на следующем заседании (11 апреля). Говорилось, что в пospelовском докладе не было сказано ни слова о социалистическом реализме и отсутствовали упоминания о выступлении Фадеева. Обвинения звучали угрожающе. (Об этом рассказано в дневниковых записях студентки той поры Л.С. Новиковой, которые хранятся у меня; буду опираться на них и впоследствии.)

Позже, на партсобрании 30 января 1948 г., Пospelов был обвинен в неправильной трактовке (в его лекционном курсе) «Бесов» Достоевского (в ту пору шла кампания по обличению писателя как реакционера: автора «архискверного», по часто цитировавшимся словам Ленина). В вину ученому ставились утверждения, что в этом романе позитивно значима картина «взбунтовавшегося мещанства». (Таков, заметим, был отклик партийного руководства факультета на появившуюся 24 декабря 1947 г. руководящую статью в «Литературной газете» ее ответственного редактора В.В. Ермилова, которая именовалась «Достоевский и наша критика».)

Сюжет «Веселовский — Пospelов», продолжавшийся в течение двух лет, имел начало 27 сентября 1947 г., когда состоялось заседание кафедры, посвященное концепции Веселовского: руководству факультета было нужно, чтобы русисты вслед за Фадеевым обличили ученого как «низкопоклонника перед Западом» и «космополита». Заседание это было весьма многочленным, по сути оно являло собой общефакультетское мероприятие. (Здесь и далее использую дневниковые записи Л.С. Новиковой.) Тон обсуждению задал проф. Н.А. Глаголев, ответственный за идеологическую работу на факультете: неуважение Веселовского к революционным демократам, порочность его концепции... Все другие поддержали докладчика, говорили об «аполитичности», «безыдейности», «низкопоклонстве», «антипатриотизме» Веселовского. Совсем в другом духе высказался Пospelов, после чего, как отмечает Л.С. Новикова, за ним закрепился ярлык «компаративист на службе космополитов». Через полмесяца после заседания кафедры на страницах «Литературной газеты» (15 октября) появилась заметка некоего В. Новикова под названием «Особое мнение профессора Г.Н. Пospelова» (см. приложение № 1 к нашей заметке). Словосочетание «особое мнение» в те времена звучало как угроза. Оно воспринималось как синонимичное словам «отщепенство», «индивидуализм», «отрыв от современности», ибо *каждому* подобало быть «частицей» неделимого целого: народа и интеллигенции, партии и государства. Микростатья Новикова — своего рода образец официоза тех лет (на уровнях и смысловом, и стилистическом). После ее появления начался нескончаемый ряд «проработок» ученого, продолжавшихся два года. Их организатором был секретарь партбюро Е.С. Ухалов. Запомнились слова Геннадия Николаевича в беседе той поры со мной: «Это змея, которая жалит внезапно, в момент, когда того не ждешь». Через несколько десятилетий я воспроизвел эти слова в разговоре с В.В. Кусковым, который был в 1948–1949 г. аспирантом нашего факультета и, насколько я знаю, партийным активистом. Отклик последовал такой: «Геннадий Николаевич был не совсем прав. Ухалов в рамках факультетской жизни по требованию сверху действительно преследовал Пospelова. Но перед высшими партийными инстанциями он его защищал». После этого разговора в моей памяти всплыла беседа Пospelова с его двоюродной сестрой в домашней обстановке (начало января 1950 г.). Она: «А с работы тебя не выгонят?» Он: «Думаю, что не выгонят. Я им даже нужен. Вот придет на факультет кто-то сверху и спросит: «А *такие* у вас есть?» Отвечают, что есть, и меня называют. А потом еще раз придут и вновь спросят: «А *такие* — есть?» И факультетские руководители опять на меня показывают. Так что, думаю, не уволят».

Но вернусь к фактам далеких времен. «Проработки» ученого за «серьезные ошибки» были весьма разнообразны. Велись они на партийных собраниях (заочно: Геннадий Николаевич был беспартийным), на заседаниях кафедры и ученого совета, а также на страницах факультетской газеты «Комсомолия» и общеуниверситетской («Московский университет»). Высшей точкой антипоспеловской кампании был 1949 г., в начале которого на секции критиков в Союзе писателей с погромной речью об идеологической крамоле на филологическом факультете выступила Е.И. Ковальчик, работавшая на кафедре советской литературы и являвшаяся членом редколлегии «Литературной газеты». (Как мне недавно рассказал В.А. Зайцев, слушавший в 1950 г. ее курс советской литературы, в лекциях преобладали цитирования и восторженное комментирование классиков марксизма-ленинизма, а также руководящих партийных документов.) На основе своего доклада Ковальчик написала статью «Псевдоученые записки» (Литературная газета. 1949. 28 сентября). Это была разносная рецензия на третий выпуск журнала «Доклады и сообщения филологического факультета», где, в частности, была опубликована статья Пospelова «Проблема романтизма». Ковальчик в тон Фадееву и вслед ему обличала «либерально-буржуазного» Веселовского, гневно отвергала «аполитичность» и «объективизм» тех литературоведов, которые уклонялись от изучения современной литературы. Суровому суду были подвергнуты работы В.В. Виноградова и П.Я. Черных. Но наибольшее внимание Ковальчик уделила статье Пospelова «Проблема романтизма». В выражениях она не стеснялась: «Все выдает формализм, аполитичность автора статьи и глубочайшую антинаучность взглядов... Читателя статьи не может не удивить предельная сбивчивость понятий Г. Пospelова, пустопорожность всего хода рассуждения, внешне прикрываемая учеными ссылками».

Доклад Ковальчик, предшествовавший появлению ее статьи, обсуждался на заседании кафедры русской литературы 25 февраля 1949 г. Как протекало и чем завершилось это заседание, мне неизвестно. Но в моем домашнем архиве хранится написанный Пospelовым (четко и без помарок) текст его (предполагавшегося или уже состоявшегося — не знаю) выступления на этом заседании (см. приложение № 2). Ученый не только не возмущается возведенными на него поклепами, но, напротив, говорит о своих серьезных просчетах, можно сказать, кается: зловещий знак мрачной эпохи... В том же 1949 г., замечу, свои «ошибки» и «заблуждения» признали почти все обвиненные в космополитизме ленинградские ученые: В.Я. Пропп, Б.М. Эйхенбаум, В.Ф. Шишмарев, В.М. Жирмунский. Да и Ахматову к месту вспомнить, которая, выступая в конце 1940-х гг. перед публикой, заявила, что считает постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад Жданова, который нещадно ее поносил, «совершенно правильными»<sup>1</sup>.

Репутация Пospelова в кругу студентов этой трудной для него поры была неоднозначной. Почитателей и сторонников у него было немного. Ортодоксальные студенты-комсомольцы (а на младших курсах 1947–1949 гг. таковые составляли подавляющее большинство) испытывали к Геннадию Николаевичу недоверие, а то и более сильные негативные чувства. Порой недоумевали, почему Пospelо-

<sup>1</sup> Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой (1932–1962). М., 1997. Т. 2. С. 93–94.

ву до сих пор позволяют читать лекции. По поводу курса «Русская литература XVIII века», читавшегося в 1949 г., один из студентов отозвался так: «Если говорить о частностях, то в лекциях Пospelова все совершенно верно. Но в целом курс идеологически неправильный. От него не веет духом классовой борьбы». (Здесь были перелицованы хрестоматийные в ту пору слова Ленина о сочинениях Чернышевского: от них «...веет духом классовой борьбы».) Доводилось мне слышать о Пospelове от студентов моего курса в первые годы нашей учебы и словечки, выходящие за рамки приличия. А позже репутация Геннадия Николаевича пошла вверх: мы повзрослели, главное же — гонения кончились.

Прошло лишь немногим более года после «кафедрального покаяния» Пospelова, и для него наступили времена гораздо поспокойнее. После появления «антимарровской» статьи Сталина (Правда. 1950. 14 июня), где было сказано о недопустимости «аракчеевского режима» в науке, отношение к нему административного и партийного руководства резко изменилось. Травле наступил конец. Запомнилось мне выступление Н.А. Глаголева на кафедральном обсуждении статьи Сталина: «В нашем факультетском литературоведении аракчеевского режима не существовало. Да, мы критиковали Геннадия Николаевича, но это была критика доброжелательная, дружеская». Примерно в ту же пору Пospelов рассказал мне, смеясь: «Раньше очень многие на факультете меня не замечали, при встречах проходили мимо, не здороваясь, а то и отворачиваясь. А теперь держатся совсем иначе: улыбаются, жмут руку, заводят разговоры». В то же время тревожное ожидание худшего Пospelова не покидало. В 1953 г., незадолго до выхода книги «Творчество Гоголя», он мне невесело сказал: «Вот появится книга, опять начнут прорабатывать, вновь придется каяться». И (после паузы, задорно, даже весело): «Но книга-то все-таки останется!»

В одной из недавних работ о судьбах науки в эпоху советского тоталитаризма было справедливо сказано, что свобода выбора у ученых сохранялась «при всех обстоятельствах»<sup>2</sup>. И позиция Пospelова в годы жестоких гонений на науку о литературе — одно из ярких тому свидетельств. Действовал Геннадий Николаевич (как и многие подобные ему) в одиночку. Выступлений в печати и на каких-либо заседаниях в его поддержку и защиту не было и быть не могло: заявить о своем согласии с человеком официально (по партийной линии) осуждаемым означало бы появление оппозиционной группировки, что каралось мгновенно и беспощадно.

## Приложение I

### **Особое мнение профессора Г. Пospelова**

(Литературная газета. 1947, № 48/2361. 15 октября)

Круглый зал был переполнен — здесь собрались профессора, аспиранты, студенты Московского университета. Заседание литературных кафедр филологического факультета было посвящено А.Н. Веселовскому.

---

<sup>2</sup> Алтатов В.М. Филология и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С. 216.



Отмечая заслуги ученого, стоявшего на голову выше европейских буржуазных филологов, все выступавшие в то же время говорили о необходимости критически отнестись к его наследству, понять ошибочность его методологии, в частности порочность сравнительно-исторического метода.

И вот на кафедру поднялся проф. Г. Поспелов. Его речь представляла собой сплошной акафист в честь А.Н. Веселовского и была направлена против всякой попытки критически отнестись к наследию ученого. Она содержала ряд явно ошибочных положений.

Нет надобности пересказывать целиком выступление проф. Г. Поспелова. Достаточно указать, что в пылу чрезмерного восхваления А.Н. Веселовского он потерял всякое чувство меры и исторической реальности. Говоря о заслугах А.Н. Веселовского, он оторвал его наследие от конкретно-исторической обстановки и изобразил дело так, словно в то время вся наука о литературе была представлена только работами этого ученого.

Воюя против тех, кто, по его мнению, хочет вычеркнуть А.Н. Веселовского из истории русского литературоведения, проф. Г. Поспелов обнаружил свои истинные симпатии. Он не согласен, что концепция А.Н. Веселовского была шагом назад по сравнению с эстетическими принципами революционных демократов. По его мнению, вообще нельзя А.Н. Веселовского сравнивать с Чернышевским и Добролюбовым. Это, видите ли, две совершенно разные линии. Одна — линия публицистики, не имеющая ничего общего с наукой, а другая — линия академической школы, которая и представляла с точки зрения проф. Г. Поспелова истинную науку о литературе.

Так, проф. Г. Поспелов в полном соответствии с прежней реакционной и либеральной «цензовой наукой» отказал в научности прямым предшественникам марксистско-ленинской науки о литературе — великим ученым и революционерам Чернышевскому и Добролюбову, зачеркнул их исторические заслуги и объявил наследие А.Н. Веселовского вершиной развития русского дореволюционного литературоведения.

«Особое» мнение проф. Г. Поспелова оказалось не чем иным, как продолжением весьма старой и давно разоблаченной теориейки о несовместимости науки и политики, о независимости «настоящей» науки от общественной жизни и классовой борьбы.

В. Новиков, кандидат филологических наук

## Приложение II

Г.Н. Поспелов

### Выступление на заседании кафедры 25/II-49 года

Доклад Е.И. Ковальчик обращает внимание на существование в современной советской критике нескольких критиков-антипатриотов, которые своим систематическим и беспринципным охаиванием лучших произведений советской литературы, драматургии, искусства нанесли огромный политический вред нашей советской культуре, всячески тормозили ее развитие, ее творческие успехи.



Эти критики-антипатриоты заслуживают нашего решительно и принципиального осуждения.

Как известно, критика является одним из важнейших рычагов, обеспечивающих рост и развитие нашей жизни. В докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» т. Жданов указывал, что только «смелая и решительная критика помогает совершенствоваться нашим людям, побуждать их идти вперед, преодолевая недостатки своей работы». Но есть и другая критика — беспринципная, злопахательская, дискредитирующая, мешающая делу, наносящая ему вред. Такая «критика» только мешает разворачиванию здоровой, объективной, деловой критики. Именно такой и была критика антипатриотических групп. Передают, что т. Фадеев так и сказал критикам-антипатриотам, пытающимся в ответ на разоблачение приписать ему пожелание критиковать произведения советской литературы: нет, я хочу их критиковать, но вы мне мешаете.

Свое беспринципное отрицание достижений советской литературы и театра критики-антипатриоты прикрывали требованиями высокого эстетизма, психологической усложненности, сюжетной занимательности. Но эти требования обнаруживали их враждебное эстетическое гурманство. С помощью этих требований они охаивали само идейное содержание повестей и пьес, само изображение советской действительности с ее героикой труда и борьбы, а отсюда и саму действительность, самих людей, являющихся предметом изображения, борцов за независимость и расцвет нашей страны. За это они и получили по заслугам название критиков-эстетов, космополитов, антипатриотов.

Борьба с ними, естественно, ставит перед нами одновременно и более широкую задачу: проверить нашу собственную работу в области науки и преподавания науки, посмотреть, нет ли и здесь ошибочных и вредных тенденций? — В этой связи я снова должен говорить здесь о своих ошибках, т. к. уже после моих выступлений на кафедре и Уч. Совете в печати появились две мои теоретические статьи, в которых хотя и содержится критика теории Александра Веселовского, однако такая критика, которая сама стала предметом справедливой критики в нашей факультетской газете.

Появление этих статей создает впечатление, что мои предыдущие выступления по этому вопросу были неискренними, что я упорствую в своей оценке Веселовского. Должен разъяснить, что указанные мои статьи писались гораздо раньше моих выступлений на кафедре и Уч. Совета в прошлое полугодие. Первая из них — «К вопросу о поэтических жанрах» была написана в январе 1947 года, т. е. за полгода до выступления тов. Фадеева, поднявшего общественность на борьбу с компаративизмом и космополитизмом, и была только наспех и совершенно недостаточно поправлена перед сдачей сборника в печать, в мае 1948 года. Вторая статья — «О ситуации и сюжете» была написана в ноябре 1947 года, т. е. почти одновременно с моей защитой Веселовского в связи с докладом Н.А. Глаголева. Таким образом, мои недавние выступления с признанием своих ошибок в принципе относились также и к этим статьям, ранее написанным, и запоздалое появление этих статей в печати не означает, таким образом, моего упрямства.

Тем не менее я считаю необходимым подвергнуть эти статьи решительной критике и подумать о корнях своих ошибок. Я никогда не являлся сторонником

теории буржуазного компаративизма по существу своих научных взглядов, никогда не разделял и теорий Веселовского. В обеих статьях я пытаюсь критиковать эти взгляды. Но критика эта получилась у меня совершенно непоследовательной и половинчатой и привела к обратным результатам. Со мной случилось, мне кажется, приблизительно то же, что и с ответственными редакторами ленинградских журналов, допустившими на их страницы враждебные и упадочные произведения Зощенко и Ахматовой. Эти редакторы, — говорил Т. Жданов, — думают, что политика — это дело правительства, дело ЦК. Что касается литераторов, то не их дело заниматься политикой. Написал человек хорошо, художественно, красиво, — надо пустить в ход, несмотря на то, что там имеются гнилые места, которые дезориентируют нашу молодежь. У меня получилось нечто подобное: написал человек учено, эрудированно, значит, надо относиться к нему со всей осторожностью, с почтением, надо критиковать его деликатно, по частным вопросам, не вдаваясь в критику всей системы его взглядов, хотя она и основана на гнилых, идеалистических предпосылках, методологически и политически враждебных нашим позициям.

В каком-то смысле я повторил тем самым и вторую ошибку руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда». «Она заключается в том, — говорил т. Жданов, — что некоторые наши работники поставили во главу угла своих отношений с литераторами не интересы политического воспитания советских людей и политического направления литераторов, а отношения личные, приятельские».

Т. Жданов говорил об отношениях в текущей критике, в руководстве журналами. Но ведь и в науке могут существовать в каком-то смысле подобные отношения. Они заключаются в повышенном уважении к академической науке, в своеобразной ученой кастовости, в готовности расшаркиваться перед учеными «авторитетами», в боязни сделать прямое резкое возражение по существу, чтобы не унижить авторитет ученого. Такое отношение мешает принципиальной, политически заостренной критике. Вот такое отношение и сделало мою критику Веселовского академической, беззубой, объективистской, аполитичной. Получилась критика половинчатая, с оговорками и уступками, с воздаванием должного, критика, так сказать, «приятельская». Получилось так, что существует некая единая, «чистая» наука, высокая своей любовью к истине, в которой люди хотя и полемизируют, но делают этим одно, общее дело. Это то, что можно назвать беспартийностью в науке, забвением ленинского положения, что и «литературное» и в той же мере научное дело должно стать частью общепролетарского дела. В своих теоретических и историко-литературных курсах я на все лады внушаю студентам, что литература — классовая идеология, что она общественно активна в понимании и оценки жизни, что она всегда вооружает идеологически определенный политический лагерь. Когда же я взялся за научные статьи, то выступил абстрактно и аполитично.

Вот первая из моих статей. Как известно, Веселовский много занимался вопросом о жанрах и родах и высказал свое понимание их развития, понимание всецело формалистическое и идеалистическое, сводящее все дело к имманентной эволюции внешних форм, средств поэтического выражения. В своей статье я пытался показать, что жанры — это не только формы произведений, что это

прежде всего особенности их идейного содержания. Однако вместо того, чтобы на этой основе дать последовательную и резкую критику формализма и идеализма Веселовского, я начал статью с почтительного признания, что факты, указанные Веселовским, действительно существуют и что « всю историю поэзии... можно рассматривать как возникновение, сосуществование и смену всех этих внешних композиционно-стилистических систем ». Правда, дальше у меня следует « однако »: однако такое рассмотрение было бы « ограниченным и односторонним ». Получилось не отчетливое противопоставление двух принципов понимания жанров, а мелкая оговорка, почти уступка. Получилось, что все-таки можно рассматривать смену внешних форм.

В статье есть и еще более неудачное место. Во всех своих курсах я всегда доказываю, что писателя можно верно понять, только указав его место в идейно-политической борьбе эпохи, и на практике всегда так поступаю с каждым писателем, не жалея времени, как это хорошо знают мои слушатели, на выяснение общественно-политической обстановки эпохи. А в этой статье я написал, что « развитие... поэтической культуры каждого народа есть единый процесс », что в нем « различные выразительные системы перекликаются, контрастируют и переходят одна в другую ». Сказать просто « единый процесс » — значит забыть о его социально-классовой противоречивости. Сказать « перекликаются и переходят одна в другую » — значит признать возможность имманентного развития. Действительно, получилась критика, которая местами сбивается на поддержку критикуемого, за что меня справедливо упрекают теперь в нашей факультетской газете.

И в другой статье можно найти нечто подобное. Здесь я стараюсь доказать, что сюжет является средством образного отражения жизни в ее понимании и оценке со стороны писателя, что он своими подробностями и выражает понимание и оценку. В этом вопросе Е.С. Ухалов критикует меня несколько произвольно, формулируя мою мысль так, что сюжет есть как бы футляр, в который можно вложить любое содержание. Я так не понимаю сюжета и не имел в виду выразить такую мысль. Но все же и здесь я сопровождал развитие своей мысли такими смягчающими оговорками, которые сделали критику компаративизма, имеющуюся в конце статьи, компромиссной и не достигающей цели. « Сличение сюжета, — написано в статье, — с сюжетом другого произведения, в той или иной мере совпадающим с ним, — все это возможно и часто необходимо. Но все это не может быть основным методом изучения сюжета, путем к его пониманию ». Опять получалась уступка: основным быть не может, но все же, следовательно, имеет свои права. Я должен был подчеркнуть, что в руках компаративистов совпадают при сравнении вовсе не сюжеты в их конкретно-исторической, национальной и социальной определенности, а только абстрактная схема сюжетов, лишенная такого своеобразия, что конкретные сюжеты, выражающие столь же конкретное идейное содержание, совпадают в исключительных, редких случаях. Но я этого не сказал, и вместо методологического размежевания с компаративизмом и космополитизмом получились снова оговорки, делающие всю критику приглушенной и стыдливой. Ко всему этому меня привел ложный академизм, либеральное отношение к буржуазной науке.

Какие же выводы из всего сказанного я должен для себя сделать? В своих недавних выступлениях я выражался так: надеюсь... мне удастся... постепенно... преодолеть... Сейчас я скажу решительней и проще: я беру на себя обязательство перед кафедрой и общественностью факультета быстро покончить с ложным, мягкотелым, либеральным отношением к буржуазной науке, заменив его отношением осознанно-политическим, партийным. Я не могу более фигурировать в роли защитника и оруженосца формалиста и идеалиста Веселовского, т. к. эта роль, по существу моих научных воззрений, мне совершенно не к лицу. Я беру обязательство вступить в *неприятельские* отношения с Веселовским, и в этом смысле я уже получил согласие редакции журнала «Вестник Моск. Ун-та» предоставить мне место в одном из ближайших номеров<sup>3</sup>. Я благодарю за резкую и принципиальную критику и постараюсь доказать, что я ее достоин.

---

<sup>3</sup> Публикация этой статьи отсутствует.

*О.Е. Осовский*

## **«НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАБЛЮДАЮЩИМ»: БИОГРАФИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (СЛУЧАЙ М.М. БАХТИНА)**

Проблема создания научной биографии литературоведа представляется одной из важнейших для современной отечественной науки о литературе, по крайней мере в сфере ее историко-биографических разысканий. Необходимо отметить, что и жанр биографии как таковой, приобретший огромную читательскую популярность, оказывается в центре исследовательского внимания. Сошлемся на авторитетное мнение Н.А. Богомолова. В недавней, достаточно резкой рецензии с выразительным названием «Биографическое повествование как симптом» на безусловно небесспорную биографию А.А. Ахматовой, принадлежащую перу А. Марченко<sup>1</sup>, литературовед дает яркую картину жизни современной индустрии биографий и убедительно объясняет причины ее востребованности на рынке массовой литературы: «Биографии самых разных людей читаются в наши дни едва ли не чаще, чем какие-либо другие книги. Прямым свидетельством этого стало процветание серии “Жизнь замечательных людей”, которая после периода некоторого анабиоза расцвела так, как даже и в прежние годы не могла. В конце книги Д. Быкова о Б. Окуджаве рекламируются уже вышедшие или имеющие вот-вот выйти биографии Каллигулы и Феллини, Мусоргского и Шелепина, королевы Марго и Шукшина, Анны Керн и Навуходносора II... Не только ЖЗЛ занимается этим промыслом, но и другие издательства также. <...>

Создается впечатление, что нынешнему читателю только и нужно, что поглощать биографии очень и не очень знаменитых людей, приобщаясь к частной жизни всех времен и народов. Виртуальное проживание чужих жизней захватывает подобно наркотику. Но почему именно кем-то беллетризованные биографии, а не мемуары, не переписка, не биографии академические? <...>

В общем-то, ответ довольно прост. Обыкновенный современный читатель полагает, что он вполне может мериться той же самой меркой, что и описываемый персонаж. Вот только выкинуть из жизни писателя — литературу, композитора — музыку, живописца — картины, философа — идеи, правителя — государственные обязанности, оставить на их месте еду, наряды, физиологию, элементарные реакции, мелкие (или даже не очень мелкие) грешки, и все будет замечательно»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Марченко А.* Ахматова: жизнь. М., 2009.

<sup>2</sup> *Богомолов Н.* Биографическое повествование как симптом // Знамя. 2009. № 9.

Очевидно, что ситуация с «научным сегментом» биографических повествований имеет, воспользуемся уже прозвучавшим выражением Н.А. Богомолова, иную симптоматику, однако фактор присутствия в этом пространстве феномена «массовой биографии» и порождаемых ею «соблазнов», конечно же, должен приниматься во внимание.

Проблема научной биографии литературоведа — проблема достаточно серьезная. С одной стороны, она вписывается в общий круг научных биографий представителей науки, а с другой — имеет свою специфику и в силу того негромкого, можно сказать, частного дела, которым занимается литературовед, и в силу того, что аудитория потенциальных читателей этой биографии довольно ограничена и исчерпывается в лучшем случае самими литературоведами.

К сожалению, жанр научной биографии литературоведа не слишком востребован и популярен в нашей стране (в отличие от Запада, где развитая индустрия производства интеллектуальной литературы, прежде всего для университетской публики, дает куда больше удачных примеров научных биографий крупных литературоведов, хотя и их не так уж много). Можно назвать, пожалуй, единственный отечественный «биографический бестселлер», научные достоинства которого столь же высоки, сколь привлекательна фигура главного героя и увлекательна его жизнь. Это написанная Б.Ф. Егоровым книга о Ю.М. Лотмане<sup>3</sup>. Подчеркнем, что феноменальный успех автора в немалой степени объясняется еще и несомненным писательским его талантом, столь щедро и счастливо им демонстрируемым научному сообществу. Еще один пример — несколько более ранний — написанная В.А. Кавериным и В.И. Новиковым биография Ю.Н. Тынянова<sup>4</sup>, но все-таки кажется, что Тынянов-писатель интересовал авторов гораздо больше, чем Тынянов-литературовед.

Переходя непосредственно к сюжету, обозначенному в заголовке, заметим, что личность Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975), история жизни которого по-своему уникальна и даже таит в себе немало загадочного, не раз привлекала внимание исследователей. Однако появившиеся на протяжении последних 25 лет три его биографии оказались очень разными<sup>5</sup>: каждая из них выходила в «свое» десятилетие и по-своему отражала состояние бахтиноведения на этом конкретном этапе освоения научного наследия мыслителя (вне зависимости от того, ставили сами авторы перед собой подобную задачу или нет).

Лучшей из них и по содержанию, и по соответствию требованиям жанра научной биографии является первая, написанная на английском языке и названная в полном соответствии с традицией подобных жизнеописаний по имени своего героя — «Михаил Бахтин». Книга эта принадлежала перу двух выдающихся (сегодня это можно утверждать со всей ответственностью) славистов: одного из самых глубоких интерпретаторов научного наследия Бахтина, прекрасного знатока творчества Ф.М. Достоевского М. Холквиста и К. Кларк, в обширных познаниях кото-

---

<sup>3</sup> Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999.

<sup>4</sup> Каверин В., Новиков В. Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове. М., 1988.

<sup>5</sup> Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge, Mass.; London, 1984; Конкин С.С., Конкина Л.С. Михаил Бахтин: (Страницы жизни и творчества). Саранск, 1993; Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М., 2010.

рой в области советской литературы и культуры российский читатель может убедиться, заглянув в ее многочисленные работы, переведенные на русский язык<sup>6</sup>.

Книга Кларк и Холквиста, несмотря на то что была написана по-английски и издана в США, существенно повлияла и продолжает влиять на российские интерпретации личности, жизни и научного наследия М.М. Бахтина. Эта биография довольно быстро попала в руки российских читателей, круг которых, по понятным причинам, оказался ограничен: ее экземпляры, поступавшие официальным путем в ведущие библиотеки страны, были помещены в так называемый «спецхран» и рядовому литературоведу оставались практически недоступны. Однако авторы смогли переправить в СССР довольно большое количество экземпляров для тех, кто самым непосредственным образом помогал им в работе, в частности в поисках биографического материала, а уже потом — в соответствии с давно сложившейся у нас традицией обращения с «тамиздатовской» литературой — ксерокопии книги разошлись по Москве, а затем и по стране (могу утверждать это с полной уверенностью, поскольку с 1985 г. и по сегодняшний день пользуюсь именно таким ксероксом).

Причины влиятельности и популярности книги Холквиста и Кларк у российского читателя коренятся не только в том, что это была первая биография русского мыслителя. Судьба «первооткрывателей» в истории биографического жанра, как правило, незавидна, ибо по прошествии определенного времени подобное «первенство» остается чуть ли не единственной заслуживающей упоминания характеристикой. Одним из важнейших достоинств этой биографии оказалась ее близость традициям российского академического литературоведения. Не менее важно, что она полностью соответствовала представлениям о том, какой должна быть научная биография современного гуманитария, особенно того, чья жизнь прошла за «железным занавесом». При этом история жизни Бахтина оказалась органично и поразительно объективно вписана в историю страны и культуры, тонкое понимание процессов развития которой и превосходное знание деталей и нюансов делали ее особенно достоверной в восприятии русского читателя. Добавим, что российское «частное» (о публикации рецензий на находившуюся в «спецхране» книгу в официальных изданиях не могло быть и речи до 1987–1988 гг., когда ослабевшая и расслабившаяся цензура стала смотреть на это сквозь пальцы) восприятие американской биографии Бахтина было куда более позитивным, нежели на Западе, где книга вызвала и вопросы коллег<sup>7</sup>, и возражения оппонентов, прежде всего в связи с проблемой т. н. «спорных текстов»<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> См.: Кларк К. Советский роман. История как ритуал. Екатеринбург, 2002 и др.

<sup>7</sup> См.: *Regier R.* Rec.: Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin // Genre. 1985. Vol. 18. N 1. P. 74–81; *Todorov T.* La pensee dialogique: Rec. ad Clark K. Hoquist M. Mikhail Bakhtin // Le Bulletin Bakhtine. 1986. Vol. 3. P. 126–129.

<sup>8</sup> *Titunik I.R.* The Baxtin problem: Concerning «Mikhail Bakhtin» by Clark K. and Holquist M. // Slavic and East European journal. 1986. Vol. 30. N 1. P. 91–95. См. также: *Осовский О.Е.* Американские литературоведческие журналы о научном наследии М.М. Бахтина: Сводн. реферат // РЖ: Обществ. науки за рубежом. Литературоведение. 1988. № 2. С. 50–54; *Он же.* Бахтин, Волошинов, Медведев: об одном из проклятых вопросов современного бахтиноведения // Этика М.М. Бахтина и философия современного мира. Саранск, 1992. С. 39–54.



Несомненной заслугой первых зарубежных<sup>9</sup> биографов Бахтина стало обращение к тому, что можно назвать «устной историей», т. е. к значительному кругу неофициальных источников, пересказам воспоминаний, иногда слухов, почти апокрифических историй, в основном получавших и документальное подтверждение. Глубоко знавшие «правила игры», в рамках которых существовали советское общество, литература и культура на протяжении десятилетий, авторы понимали (в отличие от последующих поколений западных бахтиноведов), что исторический анекдот и даже, казалось бы, самое фантастическое предание могут быть куда правдивее, чем официальная автобиография или служебная характеристика. Наряду с биографическим материалом авторы наполнили книгу теоретическим и историко-культурным анализом бахтинского наследия, адекватным настолько, что даже сегодня он не кажется устаревшим. Сочетание подобной аналитики с увлекательно выстроенной канвой жизни ученого, привлечение широчайшего круга свидетельств и документальных материалов, до того практически неизвестных историкам советской литературы и культуры как в СССР, так и за рубежом, сделали американскую биографию Бахтина одним из выдающихся достижений международного бахтиноведения. Немаловажно и то, что авторами использована традиционная модель научной биографии ученого, сочетающая в себе по возможности детальное описание «трудов и дней»<sup>10</sup>.

Книгой Кларк и Холквиста была не только задана определенная планка для последующих авторов, но и предоставлена соблазнительная возможность для имевших к ней доступ российских исследователей (т. е. для всех, умевших читать по-английски после 1990 г., когда «спецхраны» исчезли) черпать сведения из этого источника, со ссылками или даже без ссылок на него.

В 1993 г. в Саранске была издана книга С.С. Конкина «Михаил Бахтин. Страницы жизни и творчества», написанная им в соавторстве с дочерью Л.С. Конкиной. С.С. Конкин, к этому времени автор биографии Н.П. Огарева, достаточно много сделавший и для изучения отдельных моментов биографии Бахтина, судя по названию книги, не претендовал на создание научной биографии, поэтому упреки ряда рецензентов (а на книгу отреагировали довольно живо<sup>11</sup>), выражавших недоумение по поводу недостаточной глубины научного анализа бахтин-

<sup>9</sup> Справедливости ради напомним, что первый более или менее развернутый биографический очерк был опубликован в 1973 г. В.В. Кожинным и С.С. Конкиным, оказавшимися в первый и последний раз по одну, а не по противоположным сторонам «бахтиноведческих баррикад» (см.: *Кожин В.В., Конкин С.С.* Михаил Михайлович Бахтин: Краткий очерк жизни и деятельности // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973. С. 5–19). Об отношении известного литературоведа к своему соавтору см., в частности: *Пчеллинец Е.О.* Воспоминания В.В. Кожина в подготовительных материалах к документальному фильму о М.М. Бахтине // Бахтин в Саранске. Вып. 4 (в печати).

<sup>10</sup> Позволим себе в данном случае отослать читателя не к Гесиоду, а к названию прекрасной книги Н. Перлиной «Ольга Фрейденберг. Труды и дни» (*Perlina N. Olga Freidenberg's Works and Days.* Bloomington, 2002).

<sup>11</sup> См.: *Борисова А.* Монолог о Бахтине // Кн. обозрение. 1994. № 19. 10 мая. С. 18; *Васильев Н.Л.* [Рецензия] // ДКХ. 1994. № 3. С. 144–151; *Кормилов С.И.* Очерк жизни и творчества М.М. Бахтина // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1995. № 6. С. 183–188.



ских идей, были хотя и справедливы, но не совсем уместны. Соавторы довольно широко пользовались материалами американской биографии, правда, оказывались не всегда точны в переводе, что приводило к «биографическим курьезам». Впрочем, если рассматривать данную биографию как предварительный очерк — столь любимые главным автором «страницы жизни»<sup>12</sup>, то снисходительное отношение к ее недочетам, включая несколько странную ее структуру с не совсем мотивированным, скажем, расположением главы о «саранском периоде», вполне допустимо.

Еще одна книга, заслуживающая упоминания, — своеобразный вариант бахтинской биографии, предложенный сравнительно недавно Н.А. Паньковым, внушительный по объему том под названием «Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина». Масштабность замысла, отразившаяся в заголовке книги одного из самых заметных исследователей биографии Бахтина, оказалась реализована далеко не до конца. В этом, впрочем, есть и свой неожиданный плюс. Пример Н.А. Панькова продемонстрировал реальную возможность создания относительно целостного фрагмента научной биографии, в данном случае посвященного конкретному отрезку в жизни героя и щедро наполненного документами и архивными материалами. В большей степени это материалы к биографии Бахтина, нежели сама его биография 1930–1960-х гг., в которых очевидная нехватка глубины и концептуальности интерпретации и комментария, на наш взгляд, вполне компенсируется содержанием публикуемых материалов. Собранные вместе, они приобретают совершенно новое качество и занимают совершенно особое место в проблемном поле отечественного и зарубежного биографического бахтиноведения.

Иной, не менее продуктивный подход предлагает в своей монографии И.Л. Попова<sup>13</sup>, создающая своего рода «биографию идей». Детально описанная автором история создания бахтинской книги о Рабле не просто дополняет существующие представления о жизни ученого и его творческих замыслах и характере их реализации с конца 1930-х гг. (здесь складывается любопытная ситуация неизбежного диалога книг Н.А. Панькова и И.Л. Поповой, хотя автор второй усердно избегает ссылок на предшественников), но расширяет философский и филологический контексты, обнаруживает ранее неизвестные или напрочь забытые источники бахтинской мысли. Она являет доказательство того, что мозг Бахтина был гениальной фабрикой по переработке чужих идей, в результате которой рождались радикально иные теории и концепции, имевшие очень немного общего с первоисточником. На этом фоне оказывается не важным даже то, что вынесенный автором в заголовок своего труда вопрос о значении бахтинской книги о Рабле для теории литературы фактически остается без ответа, адресованный исследовательницей, по-видимому, не столько прошлому или настоящему, сколько будущему науки о литературе.

---

<sup>12</sup> См.: *Конкин С.С.* Новые страницы из жизни Михаила Бахтина // *Портреты*. Саранск, 1989. С. 241–259; *Конкин С.С.* Путь ученого: Страницы жизни и творчества М.М. Бахтина // *Грани*: Лит.-худож. сб. Саранск, 1984. С. 213–230.

<sup>13</sup> *Попова И.Л.* Книга М.М. Бахтина о Франсуа Рабле и ее значение для теории литературы. М., 2009.

При всех неизбежных недостатках, в них имеющихся, книги Н.А. Панькова и И.Л. Поповой свидетельствуют о качественно новом уровне, на который выходит отечественное бахтиноведение, объективно вполне готовое к созданию научной биографии автора «Проблем поэтики Достоевского» и «Творчества Франсуа Рабле».

Думается, решение этой задачи отчасти облегчают хорошо известные беседы М.М. Бахтина с В.Д. Дувакиным<sup>14</sup>, представляющие собой очень редкий в истории литературоведения синтез «устной истории» и почти автобиографии. Рассказ Бахтина о собственной жизни, семье, друзьях, круге общения превращается, при всей его мифологизированности, в важнейший документ бахтинской биографии.

Таким образом, именно в этой точке лежит начало работы по созданию научной биографии Бахтина, шире — научной биографии литературоведа как особой разновидности жанра. Традиционная академическая модель научной биографии, которая объединяется с глубоко проанализированной «устной биографией» и дополняется новейшими бахтиноведческими разысканиями, могла бы послужить основой подобного проекта, заметно расширяющего проблемное и творческое поле современного российского литературоведения.

---

<sup>14</sup> Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996.

*М.В. Михайлова*

## КАК НАЧИНАЛОСЬ МАРКСИСТСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ? (ВЕНОК НА МОГИЛУ Е.А. СОЛОВЬЕВА-АНДРЕЕВИЧА)

Сегодня имя Евгения Андреевича Соловьева (1867–1905), или, как обычно его называют по одному из псевдонимов, Соловьева-Андреевича, не звучит ни в курсах истории литературы, ни в курсах истории критики, хотя этот человек, умерший 38 лет от роду, оставил поистине необозримое и неучтенное наследие — более 500 статей и двух десятков книг. О его многописании ходили легенды. И во многом упреки, которые он выслушивал, были справедливыми: он мог, не стесняясь, переносить не просто абзацы, а целиком написанные им страницы из одного своего текста в другой (тем более что публиковал их под различными именами — Смирнов, Скриба, Мирский и др.), не гнушался то же самое производить с текстами других авторов, нередко забывая поставить об этом в известность читателя и не заключив оный текст в кавычки, мог одно и то же свое произведение публиковать в различных изданиях, о чем с возмущением упоминали его современники<sup>1</sup>. Они же давали неллицеприятную характеристику его статьям: «борзописание», «наездничество» (подобные слова просочились даже в один из некрологов)<sup>2</sup>. По количеству нелестных отзывов он может быть сравним разве что с Акимом Волынским, о котором его современники также не сказали доброго слова. И хотя оба критика представляли собой различные литературные партии, для Н.К. Михайловского тот и другой были люди «развязные», пишущие работы «вздорные»<sup>3</sup>. Аргументировал свое мнение он тем, что один (Соловьев-Андреевич) принизил умонастроение 70-х гг., а другой (Волынский) аналогичным образом расправился с критиками-шестидесятниками. И все же не эти его «особенности», обусловленные и его загруженностью, поденной работой, бедностью и вековечной российской болезнью, которая и свела его в могилу, должны остаться в памяти потомков. А то, что почти без малого 100 лет его открытия (можно, конечно, подобрать и другое слово, если полностью отвергать предложенную им схему развития литературы) были взяты на вооружение марксистским литературоведением и активно им использовались, а отдельные его наблюдения приверженцами новой методологии беспощадно эксплуатировались, причем то и другое без ссылки на автора.

---

<sup>1</sup> См. письмо В. Миролобова 19 июля 1903 (ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. № 165. Л. 1); *Шулятиков В.* Литературный хищник // *Курьер*. 1902. 11 февр., 29 марта.

<sup>2</sup> Слово. 1905. № 249. 8 сент.

<sup>3</sup> См. *Русское богатство*. 1899. № 7. Окт.

Упреки в недостаточной осведомленности его в области культуры (П.Н. Милуков назвал его «необразованным самоучкой»<sup>4</sup>, а Горькому, в целом одобрительно о нем отзывавшемуся, некоторые его работы показались «легковесными»<sup>5</sup> и «поверхностными»<sup>6</sup>) были безосновательны: Соловьев получил добротное филологическое образование в Петербургском университете, готовился к научной карьере (его кандидатская диссертация должна была быть посвящена культу героев, что говорит о его интересе к народнической трактовке исторического процесса). Однако диссертация не была написана, а ему по неясным причинам пришлось несколько лет учительствовать в Якутии, что, однако, послужило пищей для рассказов (сборник «В раздумье», 1892), очерков и научных статей проблемах образования и быте местного населения.

В 90-е гг. XIX в. он много сделал для популяризации творчества литераторов и политических деятелей, написав для издаваемой Ф. Павленковым серии «Жизнь замечательных людей» 15 биографий. Его очень увлекало это занятие, он глубоко переживал, что «журналистика бессовестно замалчивает»<sup>7</sup> павленковское начинание. С полным основанием можно сказать, что он стоял у истоков разработки жанра научной биографии. Разброс его интересов в это время огромен: он готов освещать ведущие философские тенденции (тома о Гегеле и Ницше), писал о политических и исторических событиях, экономических достижениях (книги о Кромвеле, Бокле, Иоанне Грозном, Ротшильдах). Но, конечно, главное направление деятельности — жизнь и труды литераторов (Карамзина, Сенковского, Герцена, Белинского, Тургенева, Аксаковых, Гончарова, Достоевского, Л. Толстого). В его поле зрения оказывались и зарубежные писатели — Мильтон, Жорж Санд, Брандес. В планах были книги о Шекспире, Марксе, Сен-Симоне, Лассале.

Одновременно Соловьев-Андреевич печатает в газетах театральные и литературные рецензии, причем этот род деятельности ставит особенно высоко, уверяя, что критика — «одиннадцатая муза», а критик должен «быть художником в душе»<sup>8</sup>. Однако уже тогда он четко разграничивает критику и литературоведение (что было делом не совсем обычным для конца XIX в.). Для критика, утверждал он, в художественной литературе важно «отдельное лицо», и истинно ценную вещь представляют собой именно «творческие приемы», которые критик и должен изучать как «нечто самодовлеющее». Для историка же литературы важны «общественные настроения», их «отражение» в литературе, творческие же индивидуальности в его сознании «сглаживаются». Как историк литературы, он призывал видеть перед собой «направления, группы однородных талантов», «власть традиции, психологию классов», «постепенное нарастание идеи путем чуть ли не бесконечно малых приращений-изменений». Талант для него — «лишь яркий выразитель известного момента в развитии идеи и только»<sup>9</sup>. Критик, по мнению

<sup>4</sup> См. Письмо П.Н. Милукова В. Поссе от 11 дек. 1900 г. // Архив Горького. Кг-п 60-1-20.

<sup>5</sup> Горький М. Письма. М., 1997. Т. 1. С. 354.

<sup>6</sup> Цит. по: Десницкий В.А. Горький. Л., 1940. С. 207.

<sup>7</sup> ГНБ. Ф. 326. Казанович И.П. № 380. Л. 2.

<sup>8</sup> РГАЛИ. Ф. 518. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 271.

<sup>9</sup> Соловьев Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. Изд. 4-е, испр. М., 1923. С. 649.

Соловьева-Андреевича, преследует цели психологические, историк литературы — социологические.

Сам он даже высказал мысль, к которой стоит прислушаться сегодня, когда явно возрос интерес к бесконечно малым величинам литературного процесса. Для историка литературы, писал Соловьев-Андреевич, «не всегда интереснее тот, кто талантливее, а часто тот, кто характернее, — иногда просто раньше высказавший известную мысль и раньше пустивший ее в обращение»<sup>10</sup>. В конце жизни он выражался еще определеннее: «...личность писателя, во всей пестроте и капризности ее обстановки и проявлений, все решительнее должна из области истории литературы <...> переходить в критические монографии». И далее, то ли цитируя чье-то высказывание, то ли закавычивая свое, продолжал: «Величайшей ошибкой было бы признавать, что мыслит отдельный человек. Мыслят общественные группы, общественные классы»<sup>11</sup>. А итоговые его размышления прозвучали так: история литературы должна освободиться от «культы полубогов и героев, царей и царьков литературного мира», пора перестать создавать историю литературных «генералов, хотя бы и замечательных»<sup>12</sup>.

К счастью, сам он не всегда следовал своим собственным радикальным рекомендациям, поскольку считал, что окончательно отказываться от признания того, что «наиболее удачные формулы» все-таки неизбежно связаны с отдельными именами и выдающимися деятелями, не следует. Во всяком случае, когда дело касалось конкретных характеристик, в его книги проникал тонкий, хотя и не всегда точный анализ творческой психики художника. Так, в главке о Лескове «духовное одиночество» творца «Соборян» он, помимо всего прочего, выводит и из «злойной раздраженной завистливости»<sup>13</sup> самого писателя, который до конца дней не мог избавиться от чувства мелочной обиды и колоссального самомнения. Правда, одновременно он мог убеждать читателя, что ему совершенно безразличен морально-психологический облик Некрасова, поскольку тот никак не отразился в его поэзии. Привыкли считать, что он не придавал значения эстетическому элементу. Но стоит напомнить, что он, хотя и относился с огромным пиететом к Н.Г. Чернышевскому<sup>14</sup> и Д.И. Писареву (его работа «Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность» была даже названа «запоздалой апологией»<sup>15</sup>), мог их упрекать за недооценку «чистого искусства».

Соловьев-Андреевич успел подробно осветить лишь литературу XIX в. Характерной чертой завершения столетия он назвал возрождение идеализма, принявшего романтическую окраску, что отражало, как ему представлялось, пробуждение творческой активности личности. Русскую литературу он вообще считал

---

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> *Андреевич*. Опыт философии русской литературы. СПб., 1905. С. VI. По этому поводу Н.К. Михайловский остроумно заметил, что Соловьеву кажется, что «Лермонтова никогда не было, а была группа или класс военнослужащих помещиков» (*Михайловский Н.К.* Литература и жизнь // Русское богатство. 1899. № 7. С. 205).

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> *Соловьев Е. (Андреевич)*. Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 546.

<sup>14</sup> См. его статью «Прекрасное есть жизнь» (*Жизнь*. 1899. № 10).

<sup>15</sup> См. Московские ведомости. 1893. 2 дек.

литературой мечтателей по преимуществу, уверял, что мечтатель, «неисправимый», «странно-живучий», «руководит ее судьбами»: «Больше полувека ныл он о том, что народ закрепощен. Народ освободили. Мечтатель сразу же принимается за старое и спрашивает: “Народ освобожден, но счастлив ли народ?” И “ни разу за сто лет не изменил он своему призванию мечтателя-гуманиста, своему великому идеалу свободы и счастья”, постоянно напоминал, что человеку “нужен весь мир, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа”»<sup>16</sup>. Но эта мечтательность оказалась в конкретной исторической ситуации рубежа XIX–XX вв. основательно подкорректирована марксистской теорией, которая «сняла» с мечтательности пафос абстрактности, а самим мечтателям привила «уважение к фактам».

Значение марксистских постулатов для русского общественного сознания было зафиксировано Соловьевым-Андреевичем, посвятившим марксизму отдельную главу в «Очерках из истории русской литературы XIX века». На первых порах, объясняет он, марксисты почти проигнорировали личность как действующее лицо истории и литературы, подставив вместо нее класс, экономически и социально однородные группы людей, преследующих свои интересы, выражающиеся в политических программах, нравственных нормах и пр. Таковы были первоначальные выводы из марксистской теории. Но Соловьев-Андреевич увидел издержки «увлечения» подобными концепциями и объяснил их конкретно-исторической ситуацией и психологической атмосферой времени: множество людей «духовно прилепилось» к означенным упрощенным формулам, потому что устало, изверилось, разочаровалось в народничестве. А марксистская теория, по его убеждению, должна развиваться, чего не произошло. Этап теоретической разработки марксизма, который интенсивно велся в журналах «Новое слово», «Начало», «Жизнь», закончился «на самом интересном месте»<sup>17</sup>, когда в марксизме обозначилось нескольких течений. Так, нерешенным остался вопрос о соотношении свободы и необходимости и — соответственно — об участии личности в независимом от индивидуальной воли историческом процессе. Его постаралось решить бернштейнианство. Но им Соловьев-Андреевич не заинтересовался, сочтя его пригодным лишь для слабых людей<sup>18</sup>. Не выказал симпатии он и к ленинской версии марксизма. Имя Ленина им никогда не упоминалось, а в качестве ведущих пропагандистов марксизма в России он называл всегда только Г.В. Плеханова и П.Б. Струве.

О том, насколько глубоко был заинтересован Соловьев-Андреевич новой теорией, говорит его замысел: он собирался — считается, что по заказу Горького, — написать «Историю пролетариата». Возможно, что какую-то часть задуманного труда составила опубликованная им в 1906 г. работа «Рабочие люди и новые

<sup>16</sup> Соловьев Е.А. Литературное движение в России // XIX век. Иллюстрированный обзор минувшего столетия. СПб., 1901. С. 199.

<sup>17</sup> Соловьев Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 648.

<sup>18</sup> Существует, правда, мемуарное свидетельство, говорящее об обратном: «Вот передо мною редакция “Жизни”, мы яро спорим о Бернштейне. А Андреевич сидит, развалившись, пьет пиво и цинично заявляет: “А публика сейчас за него? За Бернштейна? Ну, и я за Бернштейна!”» (Вересаев В.В. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 529).

идеи». По собственному признанию, он познакомился с марксизмом в редакции журнала «Жизнь». Там же начала оформляться его литературная концепция, конспект которой он представил поначалу в работе «Литературное движение XIX века» (1901). Позже она «обросла мясом» в «Очерках по истории русской литературы XIX века», выдержавших на протяжении 20 лет 4 издания.

В литературе он всегда стремился отыскать «господствующую идею и волю»<sup>19</sup>, поэтому центральное место в его рассуждениях занимает народничество как едва ли не всеобъемлющая русская идеология. В первое время он отстаивал взгляд на народничество главным образом как идеологию дворянства, выраженную в «кающихся» формах, сформировавшую «ригористическую» этику страдания. Это настроение обусловило аскетизм общественного сознания и литературы 70-х гг., сосредоточенность на вопросах «устройства народного быта» в ущерб «философии»<sup>20</sup> (эта мысль как раз и вызвала резкую отповедь Н.К. Михайловского). Но о наследстве 60-х гг. он отзывался с уважением, указывая, что в свое время народнические идеалы обладали способностью вдохновлять и питать даже немощные художественные дарования, что проповедь жертвенности формировала высокую нравственность. И все же ригористическое настроение окончательно «самоликвидировалась» на этапе пролетарского бунтарства против мещанского миропорядка. А это, в свою очередь, определило совершенно иной характер современной литературы по сравнению с предшествующим этапом.

Итак, этическое содержание литературы всегда импонировало критику. Этическое наполнение составляло для него главный интерес и в литературе нового времени. Поэтому даже в философии Ницше, которого он наряду с Марксом считал одним «самых великих <...> умов»<sup>21</sup> современной эпохи, критик видел в первую очередь воспевание героического отношения к жизни и лишь выражал сожаление, что на русской почве получают распространение негативные компоненты его теории: аристократизм и презрение к массам, индивидуализм в его крайней, находящейся в оппозиции коллективу форме, так называемый *хищный индивидуализм*.

Ход русской литературы XIX в. представлялся ему как смена «дворянского» прекраснодушия озлоблением «разночинца» и предчувствием грядущей победы у представителей пролетариата. Связующей все три этапа нитью является «религиозно-нравственная» идея, образующая «целостность» русской литературы, в которой прежде всего выражается «сознание святости человеческой личности и человеческой жизни вообще»<sup>22</sup>. Идеей, объединяющей все периоды развития русской литературы, им была объявлена борьба за освобождение личности и личного начала, т. е. аболиционистская идея. Если перевести его высказывания на язык политики, что и сделал К. Чуковский, правда, несколько снизив пафос критика ядовитой фразой относительно «борьбы партикулярной фуражки с кокардой», то везде и всюду он старался обнаружить антагонизм передового умонастроения и самодержавного государства. Даже красоту он интерпретировал как

---

<sup>19</sup> Андреевич. Опыт философии русской литературы. С. V.

<sup>20</sup> Там же. С. 14.

<sup>21</sup> Жизнь. 1900. № 4. С. 319.

<sup>22</sup> Соловьев Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 8.



освободительное, революционное начало жизни, способное выносить приговор «безобразной» действительности<sup>23</sup>.

Он постоянно уточнял и развивал высказываемые им положения, в частности касающиеся содержания народнических воззрений. В конце концов Соловьев-Андреевич предложил схему-остов развития русской литературы XIX в., заметив при этом, что «ни одна схема не может охватить всего разнообразия жизненных явлений. <...> Но она неизбежна <...>, ибо без нее мы способны лишь растеряться в пестроте и разнообразии жизни»<sup>24</sup>. Эта схема предстала в его работах в следующем виде: 30–40-е гг. — *барская литература*, в которой превалирует *созерцательное* настроение, адаптирующее к русской действительности западные идеи красоты и гуманности, но не заботящееся об их практической реализации; 50–60-е гг. — *литература разночинная*, для которой характерно *волевое* начало, придававшее пре-краснодушным идеям действенный характер; в 70-е гг. начинают превалировать эмоции покаяния и литературой завладевает *кающийся дворянин*. Для всех обозначенных эпох характерно выдвижение на первый план проблемы мужика. И если вначале главной идеей было показать страдания мужика, вызвать к нему жалость и сочувствие, то потом возникло убеждение, что «мужик лучше нас»<sup>25</sup>, после чего оставалось только преклониться перед мужиком. На этом закончилась «борьба за мужика». Зато начался новый этап: «борьба за человека вообще, за пролетария»<sup>26</sup>.

Окончательно оформилась его историко-литературная концепция в «Опыте философии русской литературы» (1905), которую Горький приветствовал как «попытку дерзкой мысли пролетария осветить рост идеи свободы в России»<sup>27</sup> и из которой много позаимствовал для своих Каприйских лекций. Однако «пролетарскую подоплеку» «Опыта...» почувствовали далеко не все: для некоторых книга осталась лишь «остроумным» «этюдом по истории литературы»<sup>28</sup>, которому как раз не хватает «философичности»<sup>29</sup>. Других привлек «небывало сверкающий язык» — «легкий, изящный, капризный»<sup>30</sup>.

Была ли там на самом деле марксистская основа, сказать трудно. Во всяком случае, о «борьбе классов» в книге практически не упоминалось. Вряд ли можно считать указанием на эту борьбу упоминание о том, что «новый общественный слой (пролетариат. — М.М.) расправляет свои руки, пробует силу своей мысли и гнева». Ведь, по убеждению Соловьева-Андреевича, у пролетария «нет еще определенных намерений и целей»<sup>31</sup>. А говорилось в «Опыте...» по большей части об эпопее «подвижничества за народ» всей русской интеллигенции, без каких-либо классовых различий. Идеалом же автор провозглашал гармонию общественных

<sup>23</sup> См. Андреевич. Опыт философии русской литературы. С. 13, 473.

<sup>24</sup> Соловьев Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 652.

<sup>25</sup> Там же. С. 661.

<sup>26</sup> Там же. С. 662.

<sup>27</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 320.

<sup>28</sup> Коробка Н. Новая книга по истории русской литературы // Вестник и библиотека самообразования. 1905. № 31. С. 987.

<sup>29</sup> Там же. С. 990.

<sup>30</sup> Чуковский К. Андреевич. Опыт философии... // Одесские новости. 1905. 14 марта.

<sup>31</sup> Андреевич. Опыт философии русской литературы. С. 518.



интересов и «полную свободу и полную независимость»<sup>32</sup> человека в вопросах творчества и религии.

И по отношению к современной литературе Соловьев-Андреевич «действовал» по преимуществу как историк литературы, обнаруживая в первую очередь характерные приметы времени, а не индивидуальные черты художников. Марксистская ориентация позволила ему ощутить опасность рыночных отношений в сфере искусства конца XIX в. С внедрением капиталистических законов связал он появление книг-однодневок, шумиху, раздуваемую вокруг тех или иных произведений, популярность бульварных романов. Новую книжную продукцию он назвал «промышленной» и как печальную перспективу нарисовал ситуацию, при которой «промышленная литература заглушит»<sup>33</sup> литературу истинную. Это явление он обозначил как «мародерство» (не отсюда ли перекочевал этот образ в знаменитую статью Воровского «В ночь после битвы»?).

К новым тенденциям литературы он отнес возникновение двух направлений, выражающих дух «мещанского» и «пролетарского» индивидуализма. «Мещанский» индивидуализм наиболее полное воплощение получил в декадентстве, религиозно-философских течениях, порабощающих, угнетающих, объединяющих, как считал Соловьев-Андреевич, личность от социальной действительности, как бы «кастрирующих» ее, второй — нашел выход в художественной практике Горького, в которой критик ценил прежде всего протест против мещанского самодовольства, прозревал симптомы неуспокоенности и мятежности. Все вместе для него являлось выражением свободолюбия как душевного настроения, симптомом непримиримой энергии человеческого духа. По-видимому, он имел в виду то качество литературы, которое впоследствии С.А. Венгеров будет именовать неоромантизмом; во всяком случае, такое «разделение» «индивидуализмов» и «модернизмов» плавно перешло в воззрения П.С. Когана, в эстетическую систему А.В. Луначарского и др. Правда, он поставил знак равенства между «пролетарским» и «босаяцким» на том основании, что и босаяк, и рабочий «жадно хотят жить», не обращаются за помощью к Богу, презирают мещанское благополучие. Но критика тех лет вообще была убеждена, что именно он правильно прочитал Горького и «открыл» его для публики.

Соловьев-Андреевич одним из первых стал развивать мысль о романтизме ярко заявившего о себе молодого писателя, однако рассматривал это явление все же в параметрах предшествующего романтического мироощущения: как искание подвига, призыв к свободе, дерзость мысли, неистовство вольного чувства. Однако впоследствии он все же конкретизировал положение о горьковском романтизме, дав ему четкое определение — «пролетарский». Заметим, что подобное же определение впервые появляется у А.В. Луначарского только в 1907 г., когда тот высказался о «социал-демократическом искусстве» и его составляющих в целом следующим образом: «Дух творчества и надежды — вот что вдохнет новую жизнь в реализм, когда реализм этот станет пролетарским»<sup>34</sup>. И не случайна опять-таки

---

<sup>32</sup> Там же. С. 534.

<sup>33</sup> Соловьев Е. (Андреевич). Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 662.

<sup>34</sup> Луначарский А. Задачи социал-демократического художественного творчества // Луначарский А.В. Собр. Соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 7. С. 161.

апелляция к творческому началу как таковому (заметим, что категория «творчество» как нечто самоценное вообще не очень часто встречается в статьях первых марксистских критиков) — ведь именно Соловьев-Андреевич был убежден, что Горький одним из первых на своем знамени начертал лозунг: свобода творчества как условие формирующегося миросозерцания<sup>35</sup>. Кроме того, Луначарский неоднократно упоминал о культурной гигантомахии пролетариата, возможно, также питаясь мыслью Соловьева-Андреевича о гигантах и великанах, в которых преобразовалась горьковская страсть к изображению бурных, переполняющих душу устремлений.

Автор в «Опыте философии...» более определенно высказался и о «босяке», ранее указав, что Горький, конечно же, «не этнограф»<sup>36</sup> и бессмысленно искать прототипы босяков в реальной жизни. Писатель сделал главным героем «дух человека в его скорбных <...> поисках за смыслом жизни и правдой»<sup>37</sup>. И критик теперь босяка охарактеризовал как «символ (курсив мой. — М.М.) пробуждавшегося, но не определившегося еще пролетарского самосознания»<sup>38</sup>, выражающий пафос эпохи. Это была романтико-символистская трактовка образа, и эта мысль, так же как и утверждение, что «в Горьком... пролетариат впервые заявил о себе, о своем праве на жизнь и счастье»<sup>39</sup>, надолго определила все дальнейшие высказывания марксистской критики о писателе. Долгое время это открытие не об отражающей, а о «моделирующей» природе горьковских героев-босяков приписывалось В.В. Воровскому, и все советское литературоведение с горячностью повторяло его слова о том, что в период написания «босяцких» рассказов и романов «Фома Гордеев» и «Трое», автор только «идет на поиски той силы, которая могла бы способствовать устройению жизни и освобождению личности», но не находит ее реального воплощения «ни в среде отверженных — босяков, ни в среде буржуазии» и только в пьесе «Враги» и романе «Мать» «обретает» в рабочем классе подлинного «строителя жизни»<sup>40</sup>. Но разве не то же самое имел в виду Соловьев-Андреевич, когда писал, что босяки Горького «сильны не сами по себе; их сила в пробуждении нового класса, его еще неясных грезах, смутных надеждах, неопределившихся нравственных ценностях...»<sup>41</sup>.

Соловьев-Андреевич рассматривал метод Горького как «настоящий символизм»<sup>42</sup>, выражающий мятежное восстание против условностей жизни, ее

<sup>35</sup> См. *Андреевич*. Опыт философии русской литературы. С. 517.

<sup>36</sup> Жизнь. 1900. № 8. С. 227. Тем не менее это заявление не помешало ему выразить удивление по поводу того, что «ни один босяк у Горького никогда не единым словом не поминает о Боге. В них и у них все — земное». Это странно для «людей, вышедших чуть ли не вчера из народа» (*Андреевич* Е. Вольница // Жизнь. 1900. № 6. С. 282). Но не менее странно, как нам представляется, вопрошать «дух», или — по другой встречающейся там же трактовке — «воплощение материального и духовного голода наших дней» (Жизнь. 1900. № 8. С. 250), коим и является босяк, почему он не задается вопросами о Боге...

<sup>37</sup> Там же. С. 228.

<sup>38</sup> *Андреевич*. Опыт философии русской литературы. С. 520.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> *Воровский* В. Из истории русского романа. Горький // Воровский В. Эстетика. Литература. Искусство. М., 1975. С. 280–281.

<sup>41</sup> *Андреевич*. Опыт философии русской литературы. С. 519.

<sup>42</sup> *Андреевич* Е. Вольница // Жизнь. 1900. № 8. С. 228.

мещанского содержания, и противопоставил его символизму претенциозной, бескровной и бледной литературы русских декадентов, полной чувственности, упоения ужасом смерти, сосредоточившейся на коллекционировании нравственных и физических уродств. Их произведения в отличие от творчества их западных «собратьев», которые подкупили его подлинностью переживаний, он категорически не принял. Критик включился и в дискуссию о степени влияния на Горького идей Ницше, почувствовал в его произведениях, как позднее и Луначарский, отзвуки героического трагизма ницшеанской философии в сочетании с оптимизмом «Марксовой теории», причем без желания поучать. Он с подозрительностью относился к «учительству» вообще и в силу этого даже чтимого им Ницше не мог принять целиком. Немецкий философ был для него «слишком учитель, слишком проповедник»<sup>43</sup>. Избыток проповедничества, казалось ему, лишает творчество Толстого конца XIX в. прежней силы. И он уверенно заявлял: «<...> не Толстой, а он (Горький. — М.М.) сказал первое настоящее слово»<sup>44</sup>, имея, правда, в виду уже XX в.

Вообще отношение Соловьева-Андреевича к Л. Толстому отличалось противоречивостью и непоследовательностью. Но одно его высказывание о писателе прямо-таки останавливает внимание, поскольку в почти дословном виде обнаруживаем мы его в знаменитой ленинской работе «Лев Толстой как зеркало русской революции». Соловьев-Андреевич подчеркнул «великую недостижимую правду» изображения Толстым действительности, то, что он срывает «сто ризок с условностей нашей культурной, общественной жизни», оголяет «ее ложь, прикрытую высокими словами»<sup>45</sup>, что, однако, не мешает писателю оставаться выразителем «идеалистических сторон» прежней культуры. И у Ленина читаем про «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок»<sup>46</sup> и неизменную проповедь религии. Примечательно еще одно положение Соловьева-Андреевича, которое «разворачивает» весь литературный процесс несколько иначе, чем привыкли мы, опирающиеся в основном (особенно в последнее время) на умозаключения религиозных философов и модернистской критики начала XX в. Он соотнес самые крупные литературные достижения XIX в. с именем Толстого, а не Достоевского (что и сделала вся последующая марксистская критика, которая занялась почти исключительно Толстым, практически отринув или морально изничтожив наследие Достоевского). «Литература, которой мы теперь живем, или вся из него (Толстого. — М.М.), или вся около него», — писал Соловьев-Андреевич. Такой вывод он делал потому, что переживания писателя и его эволюция стали проекцией «всех мотивов, пережитых нашей интеллигенцией по отношению к народу»<sup>47</sup>.

Первое место вслед за Л. Толстым он отвел Чехову, поставил его выше Короленко, чье мировоззрение казалось ему «шаблонным». Радикально переменял он свое мнение о Чехове, в творчестве которого в середине 90-х гг. усматривал

<sup>43</sup> Андреевич. Опыт философии русской литературы. С. 514.

<sup>44</sup> Там же. С. 519.

<sup>45</sup> Жизнь. 1899. № 12. С. 353–354.

<sup>46</sup> Ленин В.И. О литературе и искусстве. 7-е изд. М., 1986. С. 132.

<sup>47</sup> Соловьев Е.А. Литературное движение в России // XIX век. Иллюстрированный обзор минувшего столетия. СПб., 1901. С. 199.

даже элементы декадентства, а повесть «Мужики» посчитал пустяковой вещью, именно в период усвоения марксистского мировоззрения. В статьях о творчестве Чехова, а затем и книге о нем и Горьком, он много писал об «историзме» писателя, т. е. его включенности в духовные искания своего времени, и даже пессимизм писателя назвал «историческим», т. е. таким, который «может быть излечен» при соответствующих изменениях в общественной жизни, поэтому и в последних произведениях писателя обнаруживал жизнерадостность, которая соответствовала духоподъемному историческому моменту. Но хорошо известно, что именно марксистская критика почти сразу после кончины художника начала писать о «Невесте» как провозвестнице новых настроений. В то же время Соловьев-Андреевич трактовал «историчность» все же несколько узко, всего лишь как верное изображение людей, загубленных средой, поэтому и увидел в героях чеховской драматургии только портреты талантливых неудачников, близких по духу «лишним людям». Но ведь именно такое рассмотрение чеховских героев находим мы в статье Воровского, посвященной Чехову, «Лишние люди» и в статье В. Шулятикова «Теоретик талантливой жизни» (обе — 1905).

Писал Соловьев-Андреевич и об особенностях чеховского реализма, выделяя в нем фиксацию калейдоскопичности сегодняшнего бытия, «странную и грустную фантазмагорию» современной жизни, «мозаику случайных фактов» и мелочей, из которой складывается «грозная»<sup>48</sup> картина действительности, перерастающая в обвинение всему общественному строю. Критик указал на особого рода «случайности»<sup>49</sup> Чехова, за каждой из которых угадывается неизбежность, и определил его метод как «мелочный», «атомистический» анализ жизненных противоречий. А вот эти верные наблюдения уже станут достоянием всего чеховедения последующего времени.

Некоторыми своими современниками (достаточно поверхностно знакомыми с работами Маркса) Соловьев-Андреевич воспринимался полностью как марксистский историк литературы, первым применивший к явлениям литературы принципы экономического материализма (так тогда довольно часто именовали марксистское наследие). У них идея увидеть в русской литературе порождение «массового общественного» сознания получила поддержку. Главным образом потому, что вместо пестроты литературной жизни возникла наконец «определенная, почти математическая формула»<sup>50</sup>, которую жаждали люди, истосковавшиеся по четкости, простоте и ясности.

Но сами представители марксистского крыла критики по-разному отнеслись к его построениям. И это напрямую зависело от того, как они сами понимали марксизм. Так, Шулятиков, несомненно, упрощавший и вульгаризировавший связь идеологии и базиса, подверг марксизм Соловьева-Андреевича большому сомнению. К этому его подвигла научная база его работ, в которой не делалось большого различия между трудами Гюйо, Дюринга и многих других ученых<sup>51</sup>. Зато

<sup>48</sup> Андреевич. О хищниках и одиноких людях // Жизнь. 1901. № 2. С. 364.

<sup>49</sup> Андреевич. Очерки текущей литературы // Жизнь. 1900. № 1. С. 246.

<sup>50</sup> Чуковский К. Памяти Евгения Соловьева // Театральная Россия. 1905. № 37. С. 1113.

<sup>51</sup> См. В. Ш. Литературные очерки // Санкт-Петербургские ведомости. 1900. № 308. 9 ноября.

Н. Чужаку, придерживавшемуся постулативно-оценочного подхода, в котором большую роль играло определение эстетических качеств произведения, нравилась не только «порывистая, нервная» манера критика, но и то, что этот «романтик от марксизма» никогда не опускался до «эстетического опростительства»<sup>52</sup>.

О деятельности Соловьева-Андреевича в итоге не выработалось единого мнения. Решение вопроса о принадлежности методологии Соловьева-Андреевича к марксизму зависит от того, что понимается под «каноническим» марксизмом. Если его большевистско-партийный ленинский извод — то, конечно, истовой «классовости» Соловьеву-Андреевичу не доставало. Это, собственно, и констатировал М. Храпченко, в статье о нем написавший, что у Соловьева-Андреевича отсутствовало ясное понимание, что такое класс, а при определении классовых корней литературных явлений он придавал значение в первую очередь бытовым связям, бытовой обстановке, а не владению средствами производства<sup>53</sup>. В итоге сложилось убеждение, что марксистские представления существовали у Соловьева-Андреевича на уровне усвоения общих марксистских формул, а обусловленность искусства и творческой психики художника классовой борьбой (изучением чего, собственно, и должен заниматься настоящий марксист) он трактует как культурные условия жизни писателя. Как писал находивший много верного в высказываниях критика В.А. Келдыш, «тождества с марксистской концепцией личности здесь нет»<sup>54</sup>. Но это утверждение известного литературоведа опять-таки основывается на «строغو марксистской точке зрения»<sup>55</sup>, в основе которой лежит «общественная борьба», которая и сформирует в итоге прокламируемую Соловьевым-Андреевичем свободную личность. Следовательно, не понимающий этого Соловьев-Андреевич отлучается от «строгой» марксистской линии и объявляется проводящим какой-то «свой»<sup>56</sup> марксизм.

Таким образом, вопрос о «марксизме» Соловьева-Андреевича так и остался открытым. Тем не менее именно такое марксистское литературоведение и возникло вслед за Соловьевым-Андреевичем. Несомненным остается то, что ему принадлежит мысль изучать историю русского литературного развития сквозь призму освободительных идей, впоследствии преподнесенная Лениным в статье «Памяти Герцена» в виде трех этапов освободительного движения в России. И следует при этом указать, что его более «дробная» классификация (гуманистический идеализм 40-х гг., «трудовой ригоризм» конца 50-х, просветительство 60-х, народничество 70-х) более соответствует реальности, чем грубо-размашистое деление Ленина. Также критик привлек внимание к положению, восходящему к Белинскому, но подхваченному и интенсивно внедряемому Плехановым, о необходимости придерживаться двух актов литературной критики:

---

<sup>52</sup> Чужак Н. Литературный дневник. Евг. Соловьев-Андреевич // Восточная заря. 1910. 3 окт.

<sup>53</sup> См. Храпченко М. У истоков марксистского литературоведения (Евг. Соловьев-Андреевич) // Русский язык в советской школе. 1929. № 5.

<sup>54</sup> Келдыш В.А. Новое в критическом реализме и в его эстетике // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX–XX в. М., 1975. С. 91.

<sup>55</sup> Там же. С. 92.

<sup>56</sup> Там же. С. 91.

первый — выяснение «исторических достоинств» произведения (социологический эквивалент); второй — оценка его художественного значения. Можно также считать, что он стоял у истоков богостроительства. Яркий пример тому — упоминания о «религиозности природы» «священнодействующего» Добролюбова, создававшего «писания-молитвы», религиозно-экстатически служившего русскому народу, в котором прозревал «мистическое» начало<sup>57</sup>, утверждение, что словам «Бог», «нравственный мир и порядок», «правда христианской любви» «принадлежит завтрашний день»<sup>58</sup>. А в конце жизни он объявил пролетариат носителем новой религии будущего<sup>59</sup>.

Сами же марксисты, как уже говорилось, жестоко расправились с его наследием: взяли главную идею, чуть подправили ее, введя в рамки политической терминологии, где самым главным становилось освобождение русской интеллигентской мысли от либеральных иллюзий и перевод ее на рельсы радикальных, революционных изменений. Также они вычеркнули важнейшие составляющие концепции Соловьева-Андреевича: размышления о гуманизме и гуманности. Загипнотизированные классовой борьбой, они не захотели признать необходимым этап «просвещения», на котором настаивал Соловьев-Андреевич. Разошлись с ним они в определении, кто же является «родоначальником народничества» (он считал, что Чернышевский, они — что Герцен), которое вообще понималось им как очень сложное, неоднозначное явление. С последним они были принципиально не согласны, предпочтя отринуть все, составлявшее во многом специфику русского умонастроения, и заменив при этом единоличную террористическую тактику массовым террором. И Соловьев-Андреевич, будто предчувствуя свою незавидную судьбу, то, что он войдет в массу «забытых», писал: «<...> вся их (критиков. — М.М.) забытая масса заслуживает, право, доброго слова <...>»<sup>60</sup>.

«Оригинальность метода <...> и смелость его применения» отмечал в работах Соловьева-Андреевича Чуковский<sup>61</sup>. Он же оставил характеристику внешности этого «издерганного <...> ненужно-суетливого человека с впалой грудью <...> воспаленными глазами», «мученика, страстотерпца, страдальца», убежавшего «от себя, от окружающего в мутный угар пьянства»<sup>62</sup>, а книгу «Очерков...» назвал «оклеветанной» перед русским читателем. П. Пильский представлял его как «литературного философа», «критика с острым слухом и настоящим чутьем», «человека с крылатой душой»<sup>63</sup>. Того же мнения придерживался Ф. Белявский, озаглавивший прощальное слово о нем «Критик-философ»<sup>64</sup>. А.Н. Чужак ука-

<sup>57</sup> Журнал для всех. 1901. № 11. С. 1367.

<sup>58</sup> Там же. № 10. С. 1256.

<sup>59</sup> См. *Соловьев-Андреевич Е.А.* Рабочие люди и новые идеи. М., 1906.

<sup>60</sup> *Соловьев Е.А.* Литературное движение в России // XIX век. Иллюстрированный обзор минувшего столетия. СПб., 1901. С. 194.

<sup>61</sup> *Чуковский К.* Андреевич. Опыт философии... // Одесские новости. 1905. 14 марта.

<sup>62</sup> *Чуковский К.* Памяти Евгения Соловьева // Театральная Россия. 1905. № 37. С. 1112.

<sup>63</sup> *Пильский П. Е.* Соловьев (Андреевич) // Соловьев-Андреевич Е.А. Очерки из истории русской литературы XIX века. СПб., 1908. С. 24.

<sup>64</sup> *Белявский Ф.* Критик-философ // Слово. 1905. № 249. 8 сент.

зывает на его особое место в первой плеяде марксистов: он всегда апеллировал к «конечным выводам» упомянутой теории (т. е. к идее об освободительной роли свободного и сильного класса), правда, «иногда неосознанным, порою недостаточно договоренным»<sup>65</sup>.

Но более всех прав оказался Чуковский, напомнивший, что многие выводы Соловьева-Андреевича очень быстро стали «общим местом»<sup>66</sup>. Мы бы уточнили: марксистского литературоведения.

---

<sup>65</sup> *Чужак Н.* Литературный дневник. Евг. Соловьев-Андреевич // Восточная заря. 1910. 3 окт.

<sup>66</sup> *Чуковский К.* Андреевич. Опыт философии... // Одесские новости. 1905. 14 марта.



В.И. Тюпа

## АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ XX ВЕКА

У истоков отечественной традиции литературоведческого анализа на первом месте стоит имя Александра Павловича Скафтымова, который в начале 1920-х гг. писал: «В связи с квалификацией материала истории литературы как эстетической реальности проблема опознания фактов изучения встала перед исследователем с иными требованиями. Теперь литературный факт, даже при наличии его непосредственного восприятия, предстоит как нечто искомое и для научного сознания весьма далекое и трудное»<sup>1</sup>. «Иные требования» к опознанию литературного произведения в качестве эстетической реальности одновременно со Скафтымовым занимали и М.М. Бахтина, который тогда же заговорил о необходимости подвергать изучаемое произведение «эстетическому анализу». Во второй половине 1920-х гг. интересные подходы к социологически ориентированному анализу литературных текстов предлагались Г.Н. Поспеловым<sup>2</sup>, впервые в отечественном литературоведении прибегавшим в своих ранних работах к понятию структуры.

В науке о литературе слово «анализ» имеет четыре последовательно взаимосвязанных значения: 1) одна из основных *процедур* специального рассмотрения литературных произведений; 2) эпистемологическая *стратегия* литературоведческого исследования; 3) особая *область* литературоведческого знания, накопившая уже немалый круг аналитических разборов отдельных произведений; 4) наконец, учебная *дисциплина* филологического образования.

В качестве процедуры анализ художественного текста предполагает расчленение его на компонентны и выявление различного рода связей и отношений между ними. Существенный вклад в становление аналитических процедур литературоведческого познания, несомненно, внесли ученые, представлявшие «формальную школу» отечественного литературоведения. Мощный продуктивный толчок литературоведческий анализ получил в 1960-е гг. от структурализма. В отечественном научном контексте — от тартусско-московской семиотической

---

<sup>1</sup> Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Уч. зап. Саратовского госуниверситета. Саратов, 1923. Т. 1. Вып. 3. С. 56.

<sup>2</sup> См.: Поспелов Г. К методике историко-литературного исследования // Литературоведение / Под ред. В.Ф. Переверзева. М., 1928; Поспелов Г. Стиль «Дворянского гнезда» в каузальном исследовании // Там же.